

# ГРАНИ

GRANI

230

2009



April - Juni

# ГРАНИ

**Ежеквартальный литературный журнал**

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,  
философия, публицистика,  
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,  
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,  
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,  
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского,  
В. Максимова, О. Мандельштама,  
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,  
Б. Пастернака, К. Паустовского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,  
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина  
и многих других отечественных  
и эмигрантских авторов.

\* \* \*

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов  
Редактировали:  
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,  
Б. В. Серафимов  
1947–1952 Е. Р. Романов  
1952–1955 Л. Д. Ржевский  
1955–1961 Е. Р. Романов  
1962–1982 Н. Б. Тарасова  
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч  
1984–1986 Г. Н. Владимов  
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года  
Издатель и Главный редактор  
**Татьяна Жилкина**

Редакционная коллегия:  
Алла Ависова, *США*  
Виталий Амурский, *Франция*  
Белла Ахмадулина, *Россия*  
Ирина Басова, *Франция*  
Тамара Жирмунская, *Германия*  
Виктор Кузнецов, *Россия*  
Екатерина Труш, *США*

**Москва–Париж–Берлин**  
**Сан-Франциско**

# Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ  
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXIV

№ 230

2009

## СОДЕРЖАНИЕ

*«Все будет хорошо. Россия будет великой...»* 5

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Олег ВОРОБЬЕВ.**  
Размышления о деградации 6

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

**Ирина БАСОВА.**  
*«...И символы неясные любви»* 12

**Евгений ЗАМЯТИН.**  
Наводнение 26

**Илья РУБИН.**  
Черновик романа 55

**Татьяна КАЙСАРОВА.**  
*«Под поминальные колокола...»* 79

**Александр ЗОРИН.**  
Веянье веселого ужаса.  
*Литературное эссе* 93

**Владимир НИКОЛАЕВ.**  
Тайны придворной летописи.  
*Документальная повесть. Продолжение* 111

## **АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА**

- Игорь АЛЬМЕЧИТОВ.**  
Двадцать пятая весна... Лабиринт 158

### ***ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ***

- Георгий ПОЛУЭКТОВ.**  
Последние залпы 174

- Виктор КУЗНЕЦОВ.**  
«Нет повести печальнее на свете...» 189

### ***НАСЛЕДИЕ***

- Вячеслав ЗАВАЛИШИН.**  
Александр Блок и русская революция 195

- Коротко об авторах* 230

*Обложка художника Н. Мишаткина*

*Эмблема – «Парус»  
Художник И. Иогансон*

*Все будет хорошо. Россия будет великой.  
Но, Боже мой! Как долго ждать!  
Как мучительно долго ждать.*

Александр Блок

## ПУБЛИЦИСТИКА

Олег Воробьев

### **Размышления о деградации**

Что бы кто не говорил, темная сторона человеческих поступков неотделима от самого человека, от сути его личности. Бесспорно, личность эта амбивалентна и противоречива. С незапамятных времен рассвета человечества страдает она неизбывным дуализмом.

Но, с ее хорошими и плохими сторонами, личность остается «вещью в себе» ровно до того времени, после которого она начинает продуцировать поступки, волевые действия, имеющие последствия для окружающих «града и мира».

Как известно, судят по поступкам, а не по намерениям. Ведь намерения всегда являются оправданиями, материалом для мощения адской магистрали. Поступки же всегда – приговоры. Между тем слово сказанное, как и сформулированная мысль, уже есть полноценный поступок, каким бы бесформенным или апатичным высказанное выражение ни казалось.

Как известно, логика есть во всем, даже в безумии. И кажущаяся хаотичность движения муравья имеет свой смысл, свой исток и свое завершение. Тем более – «хаотичность» мыслей человеческих.

Нет ли определенной связи между агрессивными намерениями и самой агрессией? Не могут ли агрессии предшествовать самые благие задумки и мысленные начинания?

Если рассматривать дела и мысли человеческие в виде неразрывного континуума, то напрашивается соображение о делах людских как простом продолжении мысленного ряда. Мысль – слово – действие: каждое звено этой цепочки передает эстафету смысла вовне.

И если по каким-то причинам мысль обрывается на полуслове, а слово расходится с делом, то это вовсе не есть нарушение технологической цепи, а лишь обнаруживает действие на нее сторонней «непреодолимой силы».

Мерзкие мысли порождают мерзкие поступки. С другой стороны, мерзкие мысли могут появляться, казалось бы, лишь у законченного дегенерата. Люди, не относящиеся к данной категории, интеллектуальное барахло сквозь разум вряд ли пропустят – у них срабатывает своеобразный фильтр.

И не всегда этот фильтр сформирован из культурных отложений. Бывает так, что житель глухой деревни, едва умеющий читать и писать, руководствуется более нравственными принципами бытия, нежели житель мегаполиса. Бывает и обратное.

Неизменно одно: мерзавец всегда остается мерзавцем – молчаливым трезвенником или пьяным скотом, себялюбивым начальником или ленивым подчиненным, бедняком или миллионером. Любое представление нравственного уродства в виде болезни (для комфорта восприятия) никоим образом не умаляет морального безобразия.

Мне кажется, что движение человечества по пути гуманизма без сопротивления морально-нравственной среды неизбежно приводит к деградации человеческой природы. Такое личностное движение превращается в свободное падение, сопровождаемое размытием границ доброго и злого – следствием бескрайнего раскрепощения человека.

Логично предположить, что человек вышел из пеленок первобытной общины посредством установления границ обладания, о чем в свое время так красноречиво заявил Фридрих Энгельс в своей известной работе «О возникновении семьи, частной собственности и государства». Между тем

границы внешней собственности не могут не определяться внутренними пограничьями человеческой совести, именуемой клерикалами «страхом Божьим».

Оказывается, чтобы человек оставался человеком, необходимы некие внутренние границы, заповеди, понятия стыда, вины, наконец, греха. Все, без исключения, мировые религии имеют в своей невидимой основе подобные скрепы. Именно благодаря их наличию и стали возможными мировая экспансия ислама, великие буддийские цивилизации Востока, массовая христианизация Запада, обернувшаяся вскоре вестернизацией целого света (вспомним соловьевскую символику креста и меча).

Зачатки личностного раскрепощения, проявившегося в эпоху Возрождения, развили и укрепили материалисты эры Прогресса. Десакрализовав бытие, «обесточив» религию, выдернув из жизненного уклада принцип греха, изначальной ущербности человеческой природы, социалисты довольно четко обозначили направление деградации.

Вехами падения до сих пор сияют ценности французских революций, положивших начало разложению многих европейских и азиатских империй, латиноамериканских государств.

К концу семнадцатого года Россия также оказалась в ряду жертв гуманистического оскотинивания. «Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина», – пишет об этом в своем последнем романе «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев.

И к чему в результате приводит прогресс раскрепощающей гуманизации? Пожалуй, к системе социальных взаимоотношений, очень сильно напоминающей систему античного мира, к новому язычеству – через новое средневековье. От современного мегаполиса – к греческому полису. От экуменизма и христианской эклектики – к гностическому дохристианскому мировосприятию.

Как подчеркивал в свое время гениальный философ, специалист по эстетике древнего мира Алексей Федорович Лосев, античность насквозь пропитана эросом. Общеизвестна повседневность и повсеместность педофилии, педерастии, инцеста и зоофилии древней Греции и других античных государств, которые были со временем заимствованы римлянами и широко распространены в районе Средиземноморья.

Подобные кажущиеся нынче отклонениями от нормы проявления человеческого «я» вряд ли можно назвать болезнью роста. Боюсь, что эти явления – естественное следствие поведенческого гедонизма, разврата и безответственности, заимствованные из обезьяньей общины, так любимой коммунистами всех мастей.

Что же мы видим сегодня в мире, считающимся цивилизованным? Терпимое отношение к наркомании (в XIX веке разрушившей Китайскую империю) постепенно приводит к свободной продаже наркотиков. Там, где продажа зелья формально запрещена, его всегда можно приобрести из-под полы. И Россия здесь далеко не исключение.

Недавно несколько европейских стран вывели из-под уголовной ответственности отношения инцеста, в Германии ведется широкая дискуссия по отмене еще существующих там ограничений в этой сфере.

Во многих штатах США, государствах Латинской Америки, Западной Европы и Австралии давно легализован гомосексуализм, с конца семидесятых годов переставший считаться болезнью. Несколько ранее из законодательства исчезло уголовное преследование за подобную практику.

Высокие государственные мужи вкупе с церковными иерархами по всему миру систематически уличаются в пристрастии к педофилии и иных сексуальных извращениях. Вероятно, по аналогии с гомосексуализмом, педофилию вскоре объявят болезнью, чтобы затем поэтапно легализовать. Колоссальное педофилическое лобби, сложившееся к началу девяностых годов в Российской Федерации, до сих пор не дает возможность сформировать эффективное законодательство

по борьбе с этим злом, тормозит соответствующую критику и поощряет бездействие населения.

К примеру, простая констатация гомосексуализации общественной жизни, зачастую уже ставшей поведенческой нормой в Европе и Америке, воспринимается там сегодня несомненной крамолой. Борьба за нравственные начала всячески третируется многомиллионным аппаратом средств массовой коммуникации. Общедоступность порноиндустрии посредством электронных СМИ и иных технологических новинок также вносит свой вклад в дело развращения.

Сеть либерализованных до упомощрачения «некоммерческих» организаций, феминистских, «антифашистских» движений и обществ «борьбы за...» формирует общественное мнение, потворствующее непротивлению к извращенцам.

Так называемое демократическое общество все сильнее отдаляется от провозглашенных некогда светлых идеалов либерализма и демократии.

Под демагогическим лозунгом защиты прав личности уничтожается реальная ее защита. Функции самозащиты делегируются государственным органам, открывая широкий путь общественной пассивности и апатии.

Лозунг «мой дом – моя крепость» потерял свою актуальность не только для Великобритании, в которой от преступника, проникшего к вам в дом, уже нельзя законно защищаться до прибытия полиции, но и для многих других стран континента.

При возрастании волны преступлений против личности, несовершеннолетних, главным образом, на сексуальной почве, как шагреновая кожа сокращается число стран, в которых допускается самозащита с использованием огнестрельного оружия, распространение которого в то же время сводится к минимуму. Параллельно уменьшаются допустимые пределы самообороны.

В итоге преступники и извращенцы постепенно перестают бояться за свою жизнь, а вскоре и вовсе будут выведены из-под Домоклова меча возмездия под разговоры о болезненной

«естественности» некоторых человеческих пороков и недопустимости «антигуманного» подхода к природным правам недочеловеков.

Что нас ждет? Если подобная политика неудержимой гуманизации будет продолжена, если ей не будет противопоставлена идеология сдерживания самых темных животных инстинктов человека, все мы обречены на вымирание.

Сперва разрушится институт семьи, затем настанет черед государства, а затем и самой собственности как таковой. Человечество превратится в простую биомассу, состоящую из разнополого скота.

Если же роль, выпавшая два тысячелетия назад христианству, уже сыграна, если заповеди Христовы, заповеди Моисеевы более не отзываются в душах людей праведным огнем, можно считать, что у людей отпало желание в самоконтроле. Но не отпала необходимость такого контроля, отсутствие которого и есть достаточный признак деградации.

Так гуманизация поглощает себя, будучи доведена до абсурда. Порожденная веками угнетения и самобичевания идея расцвета человеческой личности подмяла самое себя и задыхается ныне под спудом имманентной человеческой грязи.

Пирамида перевернулась, благая цель, накопив критическую массу своих преданных последователей, превратилась в свою противоположность. Всему человечеству теперь грозит участь героя писателя Зюскинда из романа «Парфюмер», разорванного на части озверевшими от страсти обожателями.

Ирина Басова

**«...И символы неясные любви»**

*...«Не печататься» никогда не было моим принципом, так же как и «печататься» не являлось необходимостью. Стихи приходили, когда душа была готова их принять. Эта готовность и была вознаграждением. Испрашивать что-либо сверх казалось излишним. Так я думаю и сейчас.*

*Сложилось так, что всякого рода соблазнов советской литературной жизни для меня не существовало. Слова «литературный институт» звучали бессмыслицей. Но одновременно с пониманием того, что поэзия не может быть профессией, пришло и понимание, что нет поэзии без профессионализма. В это понятие я вкладываю ответственность перед языком, осознание своей миссии. Но не только это...*

*Осмелюсь поделиться своей уверенностью в том, что поэзия – как некий феномен – вся является «ученичеством». И результат ее по вне балльной системе оценки зависит от способности ученика расслышать сквозь шумы времени близкие по тональности голоса своих учителей.*

*В этой передаче голоса, по всей вероятности, и заключается бессмертие поэта.*

\* \* \*

*Художник без славы и денег,  
Утешься своим ремеслом.  
Ты в лодке, а истина – берег,  
Орудуй убогим веслом.*

*Греби, принимая на веру  
Весь этот предутренний свет,  
Ты сослан судьбой на галеры,  
В беспмятство суток и лет.*

*Ты раб своего же движенья.  
Но яростней день ото дня  
Ты жаждешь прикосновенья  
Прибрежного чистого дна.*

*Чтоб снова с неясной тоскою  
Отвергнуть объятья земли  
И, пренебрегая покоем,  
Отчалить без слов и мольбы.*

\* \* \*

*Разлука подарила мне печаль  
Недолгую. За ней пришла свобода,  
Завернутая в пламень небосвода,  
И лёгким краем обмахнула даль.*

*Куда идти? Мир, начинаясь здесь,  
Внезапно исчезал за той чертою,  
Охваченной вечернею зарёю,  
И был то тайна некая, то весть.*

*Сей глобуса великий прототип  
Вращался меж закатом и восходом.  
И я, душой готовая к походу,  
Ловила этого вращенья скрип.*

*И выбран путь: туда, туда идти,  
Где отчий дом, обласканный ветрами,  
Плющом, воспоминанием о маме...*

*– Прости, ты видишь, нам не по пути...*

### Диптих

\* \* \*

*Вот уж счастье – остаться одной  
В светлой комнате. И часами  
Ликовать и томиться словами  
И беседовать только с собой...*

*Но к исходу короткого дня  
Голос твой возвестит окончанье  
Золотого как небо свиданья.*

*И опять я сама не своя.*

\* \* \*

*Привёл на край и повелел:  
– Смотри!  
И не держал ни за руку, ни словом.  
Уйти хотела – не давал уйти,  
А вырвалась – вернул к обрыву снова.*

*Так и живу у бездны на краю  
И обмираю над обвалом зыбким.  
Но всё-таки – ты слышишь? Я пою  
За ломаный пятак твоей улыбки.*

**Два стихотворения**

\* \* \*

*Лгала, молчала, берегла  
Покой, печалью озарённый,  
И притворялась невлюбленной  
Пока могла и как могла.*

*Но лгать бумаге – выше сил,  
И всё раскрылось, всё открыто,  
И белой нитью правды шито,  
Всё то, что бедный ум таил.*

\* \* \*

*Ничего не хочу объяснять.  
Разлюбила? Не знаю. Быть может.  
Эта новая благодать  
Моё сердце так сладко тревожит.*

*И поёт, замирая в тиши  
Предрассветного зябкого часа,  
Одиночество малой души,  
Возвышаясь до вещею гласа.*

\* \* \*

*Всего довольно – не звала любви,  
Уже привыкла, что её не будет,  
Но вот – пришла средь яростной зимы,  
И тёплый свет бросают фонари,  
И снег поёт, как будто соловьи,  
И слёзы лёгкие под утро будят.*

*Знакомый город словно незнаком,  
И всех центральной переулоч тихий,  
И так дремотны тени... И не их ли  
Я испугалась. И вбежала в дом.*

*Последний круг окраинной Москвы.  
На лифте вверх, звонок, нутро квартиры,  
Пыль стеллажей... И яркий май картины,  
Висящей меж стеклянных этажей.*

*С моим приходом сразу – как щелчок –  
Переключилось время, автономно  
Вдруг зажгло. И в подтверждение словно  
Растянуто, и медленно, и томно  
С путей короткий прокричал гудок...*

### Обращение к веку

*Твои уроки даром не прошли.  
Я научилась тихо ненавидеть,  
В подушку плакать и сквозь слёзы видеть,  
Как сквозь туман, изъян твоей души.*

*Я научилась тихо горевать  
И радоваться тоже втихомолку.  
Не только зубы – сердце класть на полку.  
И даже... даже шёпотом кричать.*

*И это – самый гневный мой упрёк.  
И, Боже, тоже шёпотом пропетый.  
А голос был и радовался свету.  
Но разве есть в воспоминаньях прок?*

\* \* \*

*Милая, не плачь, ну что с тобой?  
Этот вечер должен был нагрязнеть  
Поздно или рано.  
Ведь нельзя быть вечно молодой.*

*Где-то отчий дом плющом увит,  
Всех твоих обитателей предтеча.*

*Ты прошла от немоты до речи,  
Что с того, что не было любви?*

\* \* \*

*Шиповник так благоухал...*

*А.А.*

*Случай толкнул наудачу  
В прежнее время окно –  
Пахнет шиповник на даче  
Чем-то забытым давно.*

*Розовый запах тревожит,  
Тянет упрямо назад  
Через нехитрый порожек  
В неувядающий сад.*

*Там расцветали сирени  
В зелени тёмно-густой.  
Белой и пряной пеной  
Качался акаций строй.*

*Лопались свечи каштанов,  
Плыли черёмух кусты,  
Пахли совсем иностранно  
С дивным названьем цветы.*

*Я обнимала букеты –  
Сколько их было в руках!  
Красный шиповник где-то  
В тех же далёких краях.*

*И возвращаясь оттуда  
В сумерки дачи чуждой:  
Что это – сон или чудо –  
Куст этот передо мной?*

### Поздняя осень в Крыму

*Маслины мокли в ключевой воде  
И горечью своей с водой делились...*

*Давно забыта милость сентября,  
И по утрам всё пепельней гора,  
И всё темнее хвоя кипарисов.  
По склонам стелится сиреневая гарь*

*Костров, сжигающих сухие листья.  
И солнце не торопится в зенит –  
Над морем повисев, идёт на запад,  
А к вечеру вдруг вспыхнет и горит...*

*Темнеет рано. Пляска сейнеров  
Отмечена сигнальными огнями.  
Осенняя путина, верный лов,  
Причалы переплетены сетями.*

*Всё холодней, но нет мечты о лете.  
И я кажусь себе сильнее и спокойней –  
Так словно ничего на этом свете  
Не связано с любовью и тоскою.*

*А ночью снятся птицы, поезда  
И люди, говорящие о хлебе.  
Я падаю во сне. А в чёрном небе  
Искрясь и плача падает звезда.*

### Старинный романс

*О чём бы мы с тобой ни говорили,  
О чём бы ни тревожились – душа  
Уже спокойна,  
Но ещё печальна,  
А это значит –  
Я ещё жива.*

*Ещё томлюсь  
Сим замыслом двояким,  
Разглядывая в зеркале Земли  
Неверности отчётливые знаки  
И символы неясные любви.*

**Пять стихотворений****1.**

*Живу по направлению к тебе.  
И если наша встреча за горами,  
Которых нет на карте,  
То едва ли  
Замешкаюсь на горном перевале,  
Едва ли усомнюсь в своей судьбе.*

**2.**

*Брести осенним парком, бормоча:  
– Какая беспокойная задача –  
Свести с ума, самой сойти с ума.  
Как ловко справилась.  
Знать, не могла иначе.*

*Мой взор безумен и молчат уста.  
Напрасно тщусь перевести на русский  
Твой тихий бред,  
Твой нежный бред французский,  
Шуршащий как опавшая листва.*

**3.**

*Пью горечь тубероз,  
небес осенних горечь...*

*Б.П.*

*Куда уж больше –  
Больше не могу  
Ни звать,*

*Ни плакать.  
Вот была б отрада –  
Открыть окно,  
Услышать шелест сада,  
Томиться садом  
И гулять в саду.*

*Но в поисках утраченного рая  
Брожу, сама себя не узнавая,  
По переулкам памяти больной.  
То улыбнусь блаженно,  
Постигая,  
Что воздухом одним дышу с тобой.*

4.

*И вот опять окольными путями  
Иду туда, где только лишь во сне  
Была когда-то... Помнишь, по весне?  
В каком году всё это было с нами?*

*В каком столетье сон совсем простой  
Мне снился? Помню только,  
Что весной:  
Светило солнце и цвела сирень...  
Я всё ищу тот невозвратный день.*

5.

*Три лучших года.  
Лучше, чем тогда  
В младенчестве.  
И после, и всегда.  
Вся жизнь моя –  
От срока и до века –  
Не более, чем поле для цветка,  
Не более, чем вечность для мгновенья.  
Разлука наша для прикосновенья,  
Для взгляда, вздоха –  
Раз и навсегда.*

**Испанские мотивы**

*А к вечеру, перелистав страницы  
Открытой книги,  
Ветер вдруг утих.  
И оказалось – небо Барселоны  
Темней и глубже,  
Чем приснилось мне.  
И глядяваясь в эту глубину...*

*Что барские замашки Барселоны,  
Иль холм Альгамбры самоупоённый?  
Что вечные зелёные сады,  
Висящие как сны Семириады  
Над черепицей выжженной Гренады  
Под пенью птиц и тихий плеск воды?*

*О чём они, заманчивые эти  
Земные знаки?  
На иной планете  
Я рождена.  
Мой ангел ждёт меня.  
И, улыбаясь, думает:  
До встречи  
Осталось мало.*

*Над Севильей вечер  
Волшебствует, монистами звеня.*

\* \* \*

*Звонят к заутрене.  
Париж взмывает в высь.  
Ликует колокол.  
Торопится прохожий.  
А я прошу сей миг:  
Остановись,  
Ты всё вобрал в себя –  
И вечность тоже.*

*Неутомимо дети катят мяч.  
Свет солнца нестерпим для глаз.  
Не плачь.  
Проходит жизнь в вечернем одеянье.  
Она щедра.  
И всякий раз сполна  
Всё новый миг,  
всё новая весна,  
Всё радость новая,  
всё – новое страданье.*

Евгений Замятин

### Наводнение\*

Кругом Васильевского Острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Ивановича котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь – донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось.

По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть было ей уже под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Ивановичу ночью – и все-таки было не то. Что «не то» – было еще не ясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве поднималась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула водомерная трубка, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, подзванивало, жужжало, пело – будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в

---

\* Из архива ж. «Грани» – Ред.

этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой – все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уже прошло, позабылось – и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ – никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами – подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень... «Оно самое», – вслух сказал Трофим Иваныч. «Что?» – спросила Софья. «Детей не рожает, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из разохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.

Ночью – должно быть, уже под утро, дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, навзрыд плача, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала – руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» – спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неопрятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она ждала приговора. Когда приближался

срок, она не спала, она боялась – хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет – вдруг окажется, что она... Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней – он притворился, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими – было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» – это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна, степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать...» – подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи ...

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», – сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она пагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью – Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника док-

торша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» – спросила Софья. «До завтра дотянет, – весело сказала докторша. – А там работы нам с вами прибавится». – «Работы... Какой?» – «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас сколько?» – Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось – она засмеялась. «У меня ... нету», – не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом одна, укрытая теплым платком, сказала: «Ну, что ж, милые, так стоять-то?» – и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-то к обеду – скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное, и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, коротконогий – будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», – сказала Софья. «А-а, умер? – рассеянно, мимо спросил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами.

«Нет, не будет, не будет детей!» – на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И

седины, и Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе – все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иванович; возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо...» Дальше не могла.

Трофим Иванович поглядел на нее удивленно, потом сквозь угольную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться – медленно, также медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое, он сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».

В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа, слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо», – и заснула.

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчак». Один – «колчак» – прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще тем же донецким углем, но Трофим Иванович теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой, и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иванович заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» – переспрашивал Трофим Иванович, закипая смехом. «Главнука», – спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела – и на небе тоже тела. «Какие тела?» – уже еле сдерживаясь, говорил Трофим Иванович. «Ну, какие? Вот!» – Ганька тыкала

себя пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иваныч уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из предохранительных клапанов распираемого давлением котла.

Софья сидела одна, в стороне. Главнаука, небесные тела, Ганька с газетой – все это было ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если оставалась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-то своем – и вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли.

Софья набрасывала шугайку, толстый платок и шла куда-нибудь – в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта – только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.

Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету, углом одного глаза, как видят птицы, она увидела в пустом окне свет. Она остановилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый, должно быть, цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели.

Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая, и еще все может переменится.

Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с восемнадцатого года, когда Трофим Иваныч

вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшалый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.

Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Иванычу, но о чем же это – обо всем? Она сейчас уже и сама не знала, и сказала только одно: что была в церкви. Трофим Иваныч засмеялся: «В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих Бог все-таки вроде с партийным билетом». Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды – лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеленовато, чуть покосилась на Софью.

С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпой своих. Живоцерковец был рыжий верзила, в куцой рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» – и вцепился в него, оба покатались на паперть, над толпой, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту, там сапожник Федор – с желтой лысиной – проповедывал «третий завет».

Весна в этом году была поздняя, на Духов день деревья еще только начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для глаза дрожью и лопались. Вечером было непрочное, светло, метались ласточки. Сапожник Федор проповедывал о скором Страшном суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба, нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» – весь дрожа, сапожник ударял себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое смятое тело. Он вцепился разодрать грудь, как рубаху – ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрания.

От безумных сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья поняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и наверное придут домой только часов в одиннадцать – она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернуться?

Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорила своему ребенку: «Агу-агу-агу-нюшки. Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне на кухне шпинглет сломан, и наверное Ганька забыла привязать окно – всегда забывала. Значит, можно открыть снаружи и влезть.

Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано, Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто может забраться – а может уж и забрался? Показалось, в соседней комнате какой-то шорох. Софья остановилась. Было тихо, только тикали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках, Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к двери гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну – выскочить – звать на помощь...

Но она ничего не успела: в дверях показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнуться, крикнула: «Трофим Иваныч!» и метнулась назад, в комнату.

Софья подняла доску, поставила ее на место и села. У нее ничего не было, ни рук, ни ног – только одно сердце, и оно, кувыркаясь птицей, падало, падало, падало.

Почти тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно – не раздевался. Он стал посредине кухни большеголо-

вый, широкий, ноги короткие – будто был вкопан по колени в землю. «Ты... ты как же это рано вернулась нынче?» – сказал Трофим Иваныч и сам удивился: зачем он это сказал, как мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались – так дергается пенка на молоке, уже совсем застывшая. «Что ж это, что ж это, что ж это?» – с трудом выговорила Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уже постукивала полусапожками, одетая.

Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они столкнулись глазами, и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались одна в другую.

Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто. Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе – нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза. Ганька усмехнулась.

После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца, это было, может быть, самое трудное за весь вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель, внутри все горело, ее трясло.

Трофим Иваныч, отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья постлала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иваныч встал и пошел на кухню к Ганьке.

На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка, под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая

жара, и такая же жара была на всем Васильевском Острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет над головой зеленое стекло и, наконец, прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расплзались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое: одна – зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое – сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.

Утром Трофим Иваныч уходил на завод. Ганька уже кончила учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далека от Софьи: и Ганьку, и Трофима Иваныча, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это – Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.

Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно почему, случилось так, что Софья увидела эти колени, чуть подвинутую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя: «Я сама... Поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Иваныча.

Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея, верхняя, однажды сказала Софье: «Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегают. Вы бы за ней приглядели, а то добегаются девчонка». Софья подумала: «Нужно об этом Трофиму Иванычу ...» Но когда пришел Трофим Иваныч, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя: Ганька. Она ничего Трофиму Иванычу не сказала.

Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето, и осень шла такая же сухая. В какой-то синий и не по-осеннему теплый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услышала пухлый, ватный выстрел,

потом скоро другой и третий – должно быть в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Иваныча. Опять мягко стукнула пушка в окно, стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея – запыхавшаяся, разлапая, вся настежь, она крикнула Софье: «Ты, что же, с ума спятила – сидишь-то? Нева через край пошла, сейчас все затопит».

Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя, всю ее туго обернул, как полотном. Она услышала: где-то хлопали двери, бабий голос кричал: «Цыплят, цыплят собирай скорее!» Над головой быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу, крылья у нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто именно это ей и было нужно – вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту, зубам было холодно, хорошо.

Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала наверх свои постели, одежду, съестное, стулья. Кухня была уже пустая, только в углу стояла расписанная цветами укладка. «А это?» – спросила Пелагея. – «Это... ее», – ответила Софья. – «Чья – ее? Ганькина, что ли? Так что ж ты оставляешь?» – Пелагея подняла укладку и, придерживая ее выпяченным животом, потащила вверх.

Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея подбежала – заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос: «Пропали мы... Господи, пропали!» – и схватила на руки своего ребенка. Софья взглянула в окно и увидела: там, где была улица, теперь неслась зеленая, рябая от ветра вода; медленно поворачиваясь, плыл чей-то стол, на нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был раскрыт – должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку, Софья подумала о ней, сердце забилось.

Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну, где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта форточка, было видно, как теперь ее покачивало водою. Вода все подымалась, несла бревна, доски, сено, потом

мелькнуло что-то круглое, показалось, что это голова. «Может, уж и мой Андрей и твой Трофим Ивановыч...» – Пелагея не кончила, слезы у нее катились – настежь, широко, просто. Софья удивилась себе: как же это она – будто даже забыла о Трофиме Ивановыче, и все время только об одном, о той, о Ганьке.

Сразу обе – и Пелагея и Софья – услышали где-то на дворе голоса. Они побежали в кухню, к окнам. Распихивая дрова, по двору плыла лодка, в ней стояло двое каких-то и Трофим Ивановыч без шапки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза, ветром ее плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и казалось – он сломан посредине тела. Те двое спросили его о чем-то, лодка завернула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли дрова.

По пояс мокрый, Трофим Ивановыч вбежал в кухню, с него текло, он как-будто не замечал. «Где... где она?» – спросил он Софью. – «С утра ушла», – сказала Софья. Пелагея тоже поняла – о ком. «Я уж давно Софье говорила... Вот и догонялась, плывет где-нибудь...» Трофим Ивановыч отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он долго стоял так, с него текло, он не чувствовал.

К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под висячей лампой блестела его крепкая, спелая лысина, он рассказывал, как господин с портфелем саженками плыл в свой подъезд, как барыни бежали, все выше подымая юбки. «А утопло много?» – спросила Софья, не глядя. – «Страсть! Тыщи!» – зажмурился извозчик. Трофим Ивановыч встал. – «Я пойду», – сказал он.

Но он никуда не пошел: дверь открылась, в двери стояла Ганька. Платье у нее прилипло к груди, к коленям, она вся была захлюстанная, но глаза у нее блестели. Трофим Ивановыч стал улыбаться нехорошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке и стал ее бить. Ганька всхлипывала. Потом долго плескалась водой и вошла в комнату опять веселая, встряхивая челкой на лбу.

Пелагея уложила ее спать в чуланчике за перегородкой, а Трофиму Иванычу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они остались вдвоем. Трофим Иваныч потушил лампу. Окно побледнело, в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белея, Софья разделась, потом – Трофим Иваныч.

Лежа, Софья думала только об одном: чтобы он не заметил, как она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой из тончайшего льда: в таких непрочных ледяных чехлах бывают ветки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром – все рассыпается в пыль.

Трофим Иваныч не шевелился, его не было слышно. Но Софья знала, что он не спит: во сне он всегда чмокал, как маленькие дети, когда сосут. И знала, почему он не спит: здесь ему уже нельзя было пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя – чтобы ни о чем не думать.

Вдруг Трофим Иваныч, будто что-то решив, быстро повернулся к Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она ждала. Месяц, кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Трофим Иваныч приподнял голову, поглядел в окно, потом осторожно, стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной.

Когда он, наконец, задышал ровно и стал причмокивать во сне, как дети, Софья открыла глаза. Она тихонько нагнулась над Трофимом Иванычем, совсем близко, так что увидела один длинный черный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил губами. Софья смотрела, она уже ничего не помнила о нем, его было только жалко. Она протянула руку – и сейчас же отдернула: ей хотелось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела ...

Так было каждую ночь все три недели, пока нижняя квартира просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иваныч спускался туда на полчаса, кое-что поправлял там. Однажды он вернулся оттуда веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за Ганькой: Ганька, нагнувшись, мела комнату. Уходя, Трофим Иваныч сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора – все готово». И потом Ганьке:

«Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру тепло было».

Софья поняла: не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке, уже совсем застывая.

Извозчик, Пелагеин муж, выезжал нынче только после полудня, до тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз. «Ну, что же, как тебя поздравлять-то: со старосельем, что ли?» – сказал он Софье.

Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела глазами комнату. Все стало, как прежде: стулья, тусклое зеркало, стенные часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей показалось счастьем то, что было наверху: там ночью она слышала его дыхание, он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь – вот сегодня, сегодня же...

Ганьки не было, она ушла за дровами. Софья стояла, прислонившись лбом к окну. Стекло позванивало, был ветер, летели серые, городские, низкие, каменные облака – будто опять вернулись те же душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья почувствовала, что эти тучи не за окном, а в ней самой, внутри, они каменно наваливались одна на другую уже целые месяцы – и, чтобы не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать отсюда, или закричать таким голосом, как тогда сапожник о Страшном суде.

Софья услышала: вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто снаружи в него стукнуло. Это была пушка, воду опять гнало ветром, она напряживала синие невские жилы. Софья стояла все так же, не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку.

Вдруг Ганька негромко, в нос запела – раньше этого не случалось никогда. Софья оглянулась. Она увидела: бросив топор, Ганька сидела на корточках и ножом щепала лучину; круглые, широко раздвинутые колени вздрагивали под пла-

тьем, и вздрагивала челка на лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно, как баржа, канатом подтягиваемая к берегу против течения – канат дрожит и вот-вот лопнет – Софья подошла к Ганьке. От работы Ганька вся разгорелась, Софью окинуло жарким, сладковатым запахом ее пота – должно быть, ночью она пахла вот так же.

И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу, от живота, поднялось в ней, перехлеснуло через сердце, затопило всю. Она хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице несло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченная волной, она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, Господи, что ж это я?» – отчаянно крикнула внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку.

Ганька не крикнула и ничего, только ткнулась головой в колени, потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на железный лист перед печкой. И будто эта кровь – из нее, из Софьи, в ней наконец прорвало какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с каждой каплей ей становилось все легче. Она бросила топор, вздохнула глубоко, свободно – никогда не дышала, вот только что глотнула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда – ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки.

Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали и делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно отдыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались, она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением.

Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые керосином, уже горели в печи, а сама она, вся голая, розовая, парная, лежала ничком на полу, и по ней, не спеша, уверенно ползла муха. Софья увидела муху, прогнала ее. Чужие, Со-

фьины руки легко, спокойно разрубили тело пополам – иначе его было никак не унести. Софья в это время думала, что в кухне на лавке лежит еще недочищенная Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню, заперла дверь на крючок, затопила там печь.

Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая, под мрамор, клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная на два куска. Софья удивилась: кто же это разорвал? Зачем? Но сейчас же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ним все та же муха, Софья отогнала ее, она садилась опять. Один раз Софья увидела ее совсем близко: ноги у нее были тоненькие, как из черных катушечных ниток. Потом муха и все исчезло, было только одно: кто-то стучал в кухонную дверь.

Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали, все сильнее. Софья смотрела, как от ударов вздрагивал крючок – и даже не смотрела, а чувствовала: крючок сейчас был частью ее самой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья», она молчала, чьи-то шаги, спускались, заходили по ступеням. Тогда Софья стала дышать, посмотрела в окно. Это была Пелагея, ветром сзади на ней плотно обхлестывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени.

Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве лиловая, стеклянная от заката, и туда же, в канаву, выброшен весь мир, небо, сумасшедше быстрые лиловые тучи, а за спиной у Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под пальто придерживает рука, Софья не могла понять – что. Но рука вспомнила, что это – лопата, снова стало все просто. Она перешла через канаву, отдельно от себя, одними глазами, огляделась кругом: никого, она была на Смоленском поле одна, быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было в мешке.

Когда было уже совсем темно, она принесла полный мешок еще раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная, распухшая земля, ветер обхлестывал ноги холодными тугими полотенцами. Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть.

Далеко, должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть это было совсем близко – кто-нибудь закуривал папироску на ветру. Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником. Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по угольям еще бегали последние синие огоньки.

Софья бросила туда мешок, клеенку, весь мусор, какой еще оставался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь в комнате было совсем чисто. И так же сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо.

Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы, она внезапно почувствовала, что устала так, как не уставала ни разу за всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол и в ту же секунду заснула – полно, счастливо, вся.

Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующая на себе пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть, час, может быть, только от одного маятника до другого. Когда она подняла голову, перед нею, вросши ногами в землю, стоял Трофим Иваныч.

Ему было тесно, он расстегнул воротник у рубахи. «Где она?» – сказал он, нагибаясь к Софье. Пахло вином, от его тела шел тугой, напряженный жар. «Где Ганька?» – переспросил он. – «Да, где она теперь?» – подумала Софья и ответила вслух: «Не знаю». – «Ага... Не знаешь?» – криво, медленно сказал Трофим Иваныч, совсем близко Софья увидела его глаза, они были оскалены, как зубы. Он никогда ее не бил, а сейчас показалось: вот ударит. Но он только посмотрел на Софью и отвернулся – если б ударил, может было бы легче.

Сели обедать. Софья была одна, она чувствовала: Трофим Иваныч ее не видит, видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в стол, из ложки выкинуло капусту к нему на колени. Он подобрал ее и не знал, куда девать, скатерть была чистая, он смешно, растерянно держал капусту в руке, был как маленький цыганенок, которого Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости, она подставила Трофиму Иванычу свою, уже пустую тарелку. Он, не глядя, сбросил туда капусту и встал.

Когда вернулся, в руке у него была бутылка мадеры. Софья поняла, что это было куплено для той, сердце у нее сразу же озябло, она опять сидела одна. Трофим Иваныч наливал и пил.

После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету, но Софья видела, что он читал все одну и ту же строчку. Она видела, как газета вздрогнула: в сенях заскрипели половицы... Нет: это не к ним, это наверх. Опять стало тихо, только, как птица, метался маятник на стене. Было слышно: наверху передвигали что-то тяжелое, там должно быть уже ложились спать.

Ганьки все не было. Трофим Иваныч прошел мимо Софьи к вешалке, надел шапку; постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто вместе с шапкой хотел сорвать и голову – чтоб больше не думать, и лег на лавку, лицом к стене. «Погоди, дай я постелю», – сказала Софья. Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк.

Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крючок, протянула уже руку – и остановилась: а вдруг Трофим Иваныч спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но все-таки Софья оглянулась. Она увидела: Трофим Иваныч следит за ней, за ее рукой, протянутой и не смеющей дотронуться до крючка. «Что? Что же стала?» – спросил он и усмехнулся неровно, наполовину. «Все знает...» – подумала Софья, маятник перед ней метнулся один раз и застыл. Трофим Иваныч наливался кровью молча,

медленно, он оттолкнул стол, что-то упало, это было в Софье, внутри. Вот сейчас, сию минуту он скажет все...

Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье, на лбу у него вспухла, как Нева, синяя жила. «Ну? Что же ты? – крикнул он: все в комнате остановилось. – Запирай! Пускай где хочет, у кого хочет ночует, на улице, под забором, с собаками! Запирай, слышишь?» – «Как... как?» – еще не веря, сказала Софья. – «Так!» – отрезал Трофим Иваныч и повернулся. Софья накинула крючок.

Она еще долго дрожала под одеялом, пока, наконец, согрелась, поверила, что Трофим Иваныч не может знать, не знает. Часы над ней громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочался Трофим Иваныч, задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу – и в ту же секунду они исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. «Слава Богу...» – сказала она себе и сейчас же спохватилась: «Что «слава Богу»? Господи!»

Опять заворочался Трофим Иваныч, Софья подумала, что ведь и его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступенями, она стала набирать в себя воздух, она, как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду.

Когда она была уже почти на дне, она услышала: об пол шлепнули босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла вверх. Там сейчас скрипел пол, Трофим Иваныч осторожно шел куда-то. Так по ночам он ходил на кухню к Ганьке, Софья всегда сжималась в комок, чтобы не дохнуть, не крикнуть, и так же она сжалась теперь. Она поняла: его тянуло туда, он, может быть, схватит, стиснет там ее подушку, или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью...

Половицы скрипели, потом перестали. Трофим Иваныч остановился. Софья приоткрыла глаза: Трофим Иваныч, белея, стоял на полдороге между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней – к ней! Ее всю опажнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. «Софья...» – тихо сказал Трофим Иваныч и потом еще тише: «Софья». Она узнала его тот самый, особенный, ночной голос, сердце оторвалось от ветки и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то другим – стиснутыми до боли коленями, складками тела – Софья подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она лежала не дыша, молча.

Трофим Иваныч нагнулся к ней, она близко слышала его дыхание, должно быть он смотрел на нее. Это была только секунда, но Софья боялась, что не выдержит, она закричала неслышно: «Господи! Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись тучи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая, сухая рука коснулась Софьиных ног, она медленно раскрыла губы, раскрылась мужу вся, до дна – первый раз в жизни. Он стиснул ее так, как будто хотел выместить на ней всю жадную злобу к той, к другой. Софья услышала, как он заскрипел зубами, как опять наверху шепотом засмеялась Пелагея – и больше уж не помнила ничего.

Утром был мороз, окна были из леденца, сине-желтый зайчик полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло, стояло спокойное, прозрачное утро, дым, прямой и розовый, шел к небу.

На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: «Ганька-то ваша сбежала, а? Вот и корми их, этаких!» Софья посмотрела на нее легкими, прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить вчерашнее – и не могла: это все было очень далеко, скорее всего ничего этого не было.

Пелагея рассказала, что перед заводом Трофим Иваныч заходил к ним, спрашивал, не видали ли Ганьку. Софья про себя засмеялась. «Чему ты?» – удивилась Пелагея. «Так...» – сказа-

ла Софья, она смотрела на прямой, розовый дым – такой же дым был в деревне, откуда ее взял Трофим Иванович. Там сейчас, должно быть рубят капусту, кочерыжки – холодноватые, белые, хрустящие. Ей показалось, что все это было только вчера, и она сама такая же, какая, была, когда ела кочерыжки.

Вернувшись с завода, Трофим Иванович спросил только: «Ну? Нету?» Софья уже знала, о чем он, она спокойно сказала: «Нету». Трофим Иванович пообедал и ушел куда-то. Вернулся поздно, темный – должно быть искал, спрашивал у всех, всюду. Ночью он опять пришел к Софье – так же молча, злобно, жадно, как вчера.

На следующий день Трофим Иванович заявил о Ганьке в милицию. Софью, Пелагею с мужем, соседей вызывали туда. За столом сидел какой-то молодой малый в кепке, на носу у него было серьезное пенсне без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бумагами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же: что видели, как Ганька гуляла с какими-то ребятами, и не гаваньскими, а пришлыми, с Петербургской стороны. Пелагея вспомнила: Ганька сказала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке записывал. Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари, ей стало жалко его.

Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Ивановича купить новый топор: старый, должно быть, украли, а может и завалился куда-нибудь – не найти. Больше о Ганьке Софья не думала, Трофим Иванович тоже больше не говорил о ней ни слова. Только иногда он сидел без конца глядя на одну и ту же строчку в газете, и Софья знала, о чем он молчит. Так же молча он поднимал на нее угольные, черные цыганские глаза, тяжело, молча, глазами плыл за ней, ей становилось жутко, а вдруг он что-нибудь такое скажет, но он ничего не говорил.

Дни были все такие же ясные, хрустящие и только становились все короче, будто вот-вот, не сегодня-завтра, вспыхнут последний раз, как огарок – и темно, конец всему. Но приходило завтра, все еще не было конца. И все-таки с Софьей

началось что-то неладное. Она не спала одну ночь, другую и третью, под глазами у нее было темно, они куда-то осели. Так весною темнеет, оседает, проваливается снег и под ним вдруг земля, но до весны было еще далеко.

Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин, Трофим Иваныч крикнул ей: «Гляди, гляди – что делаешь-то: через край!» Только тут Софья увидела, что лампа уже полна, и керосин, должно быть давно уж, льется на стол. «Через край»... – растерянно повторила Софья, всегда сжатые губы у нее были раскрыты, как ночью; она смотрела на Трофима Иваныча, ему показалось – она хочет сказать еще что-то. «Ну, что?» – спросил он. Софья отвернулась. «Про... про нее что-нибудь... про Ганьку?» – услышала она голос, протиснутый сквозь белые цыганские зубы. Она не ответила.

Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей. Трофим Иваныч поднял голову, увидел ее какие-то новые, осевшие, как снег, глаза, ему стало нехорошо смотреть на нее: это была не она. «Да что с тобой, Софья?» И опять она ничего не сказала.

Ночью он пришел к ней, он не был с ней ни разу после тех двух ночей. Когда она услышала тот самый его, ночной, голос: «Софья, скажи, я знаю – тебе надо сказать», – она не выдержала, это было через край, хлынули слезы. Они были теплые – Трофим Иваныч почувствовал их щекой, испугался. «Да что, что? Все равно – говори уж!» – Тогда Софья сказала: «У меня ... ребенок будет» ...

Это было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим Иваныч провел по ее лицу – чтобы увидеть, у него дрожали пальцы, он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыбаются. Он только сказал ей: «Со-оф-ка!» Так он не называл ее уж давно, лет десять. Она блаженно, полно засмеялась. «Да когда ж это?» – спросил Трофим Иваныч. Это случилось в одну из тех двух ночей, сейчас же как пропала Ганька. «Еще помнишь – наверху Пелагея... и я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет... Нет, вру: я ничего тогда не думала, это я сейчас... Да

я и сейчас не верю... нет, верю!» – она путалась, слезы текли легко, как талые ручьи по земле.

Трофим Иванович положил руку ей на живот, осторожно, робко провел рукой снизу вверх. Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому невидная, лежала Ганька, и в земле, никому невидные, рылись белыми корешками зерна.

Это было ночью, потом опять настал день и вечер.

Вечером, к обеду, Трофим Иванович принес бутылку мадеры. Точно такую же бутылку Софья уже видела один раз: лучше бы он теперь принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так – будто прочитала одними глазами, внутрь это не вошло: все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вот-вот догорят совсем, и тогда – конец, и нужно торопиться, нужно до конца еще успеть сказать или сделать что-то.

Однажды Трофим Иванович вернулся домой позже, чем всегда. Он остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, опять вызывали!» Софья сразу же поняла, куда и зачем, внутри в ней маятник остановился и пропустил – раз, два, три удара. Она села. «Ну?» – спросила она Трофима Ивановича. – «Да что ж: сказали – дело кончено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала – ну и черт с ней! Только бы опять не заявила» ... Сердце у Софьи ожило: еще не конец.

И тотчас встрепенулось, ожило в ней, чуть пониже, будто еще одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот. «Что ты?» – подбежал Трофим Иванович. «Он... шевелится»... – чуть сказала Софья. Трофим Иванович мотнул головой, схватил, поднял Софью вверх, она была легкая, как птица. «Пусти», – сказала она. Он поставил ее на пол, зубы у него белели, как клавиши на гармонии, он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки это было впервые, должно быть он и сам это понял. Он сказал Софье: «Ну, вот что, Софка: запомни – если она теперь заявится, я ее ...»

В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала, как Трофим Иванович почти вслух подумал: «Ганька», и то же самое мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть – и все-таки это было. «Открывать?» – спросил Трофим Иванович. «Открывай», – ответила Софья совсем белым голосом.

Трофим Иванович открыл, вошла Пелагея – громкая, разла-тая, вся настезь. «Ты что ж это – белая такая? – сказала она Софье. – Тебе теперь, бабочка, есть надо побольше». Пелагея рожала уже два раза, она заговорила об этом с Софьей, снова у Софьи заулыбалось все тело, она забыла о Ганьке.

Ночью, когда она уже совсем опускалась на дно, засыпая, – ей вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала: за окном бил ветер, позванивало стекло – так же было и в тот день. Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить, долго лежала так.

Потом, как будто совсем ни к чему, отдельно, увидела: кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги – тоненькие, из черных катушечных ниток. «Кто же, кто это сделал? Она – вот эта самая она – я... Вот Трофим Иванович рядом со мной, и у меня будет ребенок – и это я?» Все волосы на голове стали у нее живыми, она схватила за плечо Трофима Ивановича и стала трясти его: нужно было, чтобы он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. «Кто. . . кто? Это ты, Софка?» – еле расклеил глаза Трофим Иванович. «Это – не я, не я, не я!» – крикнула Софья и остановилась: она поняла, что больше сказать ничего, ничего не может, нельзя, и она никогда не скажет, – потому что ... «Господи. .. Родить скорей бы!» – сказала она громко. Трофим Иванович засмеялся: «Вот дура! Успеешь!» – и скоро опять зачмокал во сне.

Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей почти не было, за окном все время колыхалась тяжелая, светлая вода, не переставая жужжали летние мухи.

Утром, уходя на завод, Трофим Иванович рассказал, что вчера у них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли, он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» – и кончился.

Окно было уже выставлено, Софья протирала тряпкой стекла и думала про смазчика, про смерть, и показалось, что это будет совсем просто – вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она встала на лавку, чтобы протереть верх, – и тут ее подхватил маховик, она выронила тряпку, закричала.

На крик прибежала Пелагея, это Софья еще помнила, а больше не было ничего, все вертелось, все несло мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услышала далекий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом все с размаху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала – из нее льется, льется кровь. Должно быть так же было со смазчиком, когда его сняли с маховика.

«Ну, вот и конец», – сказала Пелагея. Это был не конец, но Софья знала, что до конца теперь только минуты, надо было все скорее, скорее ... «Скорее!» – сказала она. «Что – скорее?» – спросил Пелагеин голос. «Девочку ... покажи мне». «А ты почему знаешь, что девочка?» – удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи живой красный кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу ногах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж на, на, возьми», – сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла на кухню.

Софья расстегнулась, приложила ребенка к груди. Она знала, что это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо было все скорее, скорее. Ребенок, захлебываясь, неумело, слепо начал сосать. Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля – ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все. «Я к себе наверх сбегая – тебе больше ничего не надо?» – спросила

Пелагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей теперь больше не надо ничего.

Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко. Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови ее!» – все это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же – ее?» – подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Трофим Иваныч зажигал лампу – шел густой дождь, от дождя было темно, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как клавиши, зубы – Трофим Иваныч должно быть улыбался и что-то говорил ей, но она не успела понять – что, ее тянуло ко дну.

Сквозь сон Софья все время чувствовала лампу: крошечная, как булавка – она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим Иваныч ночным голосом сказал: «Ах, ты ... Софка моя!» Лампа стала так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кровати сидя, она вздернула голову, как лошадь. «Лам ... па ...» – трудно выговорила Софья, язык был, как варежка. «Потушить?» – метнулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала Пелагее, что жжет в животе, в самом низу.

На рассвете Трофим Иваныч сбегал за докторшей. Софья узнала ее: та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед концом. Докторша осмотрела Софью. «Так . . . хорошо... очень хорошо ... А здесь больно? Так-так-так...» Потом весело, курносо повернулась к Трофиму Иванычу: «Ну, надо скорее в больницу».

У Трофима Иваныча зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ухватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» – спросил он. «А еще не знаю. Похоже – родильная горячка», – весело сказала докторша, пошла в кухню мыть руки.

Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо нее прошло все, с чем она жила: окно, стенные часы, печь – как будто отчаливал пароход, и все знакомое на берегу уплывало. Маятник на стене метнулся в одну сторону, в другую – и больше его не было видно. Софье показалось: надо

здесь, в этой комнате, что-то еще сделать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья вспомнила – что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не понял, чего она хочет, санитары засмеялись.

Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа, она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла муха, у нее были тоненькие ноги из черных катушечных ниток. Софья закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда? Куда? Лежите!» – сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи больше не было, Софья спокойно закрыла глаза.

Вошла Ганька – с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилось, она ударила ее топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне, толстые губы быстро говорили: «Так-так-так...», пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила ее топором, и опять докторша, покачивая головой, сказала: «Так-так-так...» Ганька ткнулась головой в колени, Софья ударила ее еще раз.

«Так-так-так... Хорошо, – сказала докторша. – Муж ее тут? Позовите скорей». – «Скорей! Скорей!» – крикнула Софья; она поняла, что – конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Сиделка побежала, хлопнула дверью. Где-то очень близко ухнула пушка, ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» – спросила Софья, широко раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас ... Лежите», – сказала докторша.

Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась все выше – сейчас хлынет, унесет все – нужно скорее, скорее ... Вчерашняя, знакомая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить ... родить скорее!» – она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили – кого ж вам еще?» Софья знала – кого, но ее имя она не могла произнести, вода подымалась все выше, надо было скорее ...

Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки, к ней подошел и заслонил ее Трофим Иваныч: «Не я – не я – не я!» – хотела сказать Софья – так уже было однажды. Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем бело, ясно. Она вскочила, встала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: «Это – я, я! Она топила печку – я ударила ее топором...» – «Она без памяти... она сама не знает...» – начал Трофим Иваныч; – «Молчи!» – крикнула Софья, он замолчал, из нее хлестали огромные волны и затопляли его, всех, все мгновенно затихло, были одни глаза. «Я – убила», – тяжело, прочно сказала Софья. – «Я ударила ее топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила ее, и хотела, чтобы у меня ...» – «Она без ф-ф-фа-мя ... без ф-фамяти», – губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.

Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала все, что в ней еще оставалось, изо всех сил вспомнила и сказала: «Нет, я знаю. Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там» ...

Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Иваныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся.

Первым опомнился Трофим Иваныч. Он кинулся к Софье, вцепился в спинку кровати, чтобы удержать, не отпустить. «Померла!» – закричал он. Женщины соскакивали с постелей, подбегали, вытягивали головы. «Уходите, уходите! Ложитесь!» – махала на них сиделка, но они не уходили. Докторша подняла Софью руку, подержала ее, потом сказала весело: «Спит».

Вечером белое стало чуть зеленоватым, как спокойная вода, и такое же за окнами было небо. Возле Софьиной постели опять стояла грудастая докторша, рядом с ней Трофим Иваныч и еще какой-то молодой, бритый, со шрамом

на щеке – от шрама казалось, что ему все время больно, а он все-таки улыбается.

Докторша вынула трубочку, послушала сердце. Софьино сердце билось ровно, спокойно, и также она дышала. «Так-так-так ... – Докторша на секунду задумалась. – А ведь выживет, ей-Богу, выживет!» Она сняла пенсне, глаза у нее стали как у детей, когда они смотрят на огонь.

«Ну, что же – начнем!» – сказал бритый молодой человек и вынул бумагу, ему было больно, но он улыбался шрамом. – «Нет, уж пусть спит, нельзя, – сказала докторша. – Придется вам, товарищ дорогой, завтра приехать». – «Хорошо. Мне все равно». – «А ей уж и подавно все равно, теперь что хотите с ней делайте!» Пенсне у докторши блестело; молодой человек, улыбаясь сквозь боль, вышел.

Докторша все еще стояла и смотрела на женщину. Она спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты.

*Петербург, 1929 г.*

Илья Рубин

## Черновик романа

Замысел этой книги возник у меня давно – задолго до того, как я покинул Россию и бесспорно ощутил, что Россия навсегда останется для меня самым значительным в жизни духовным событием, самым острым и мучительным из любовных переживаний.

В сутолоке этой несчастной любви, в бесконечной веренице слезных претензий, нелепых ссор и сладостных примирений забывалась сама любовь, как настаивает она в ходе затянувшегося романа, когда хочется воскликнуть в отчаянии подобно прустовскому Свану: «Лучшие годы жизни я потратил на женщину, которая даже не в моем вкусе!» Но прокричав, простонав или прохихикав «эти жалкие слова», истинный любовник сознательно отвергает сомнительную правоту обокраденного.

Сван в конце концов женился на Одетте. Вся история мучений благочестивого страдальца Иова – есть трагедия самого высшего разбора, но благополучный конец с возмещением убытков изрядно пахнет лубком и буффонадой. Нельзя вернуть человеку невозвратимое. На реках вавилонских мы сидели и плакали, но прошли годы, и оказалось, что нет для нас ничего дороже и слаще этих слез.

И все-таки – я пишу не о России. Ей я посвящаю эту книгу, к ней возвращаюсь каждой строкой, брезгливо отмахиваясь от кордонов и погранзастав. Но пишу все-таки не о ней. Врач может самым тщательным образом фиксировать интимней-

шие проявления человеческого и животного в человеке – но между историей болезни и биографией пролегал пропасть. Описывая симптомы отравления, анатомическая проза не вправе падать в обморок, как это случилось с автором «Мадам Бовари». Некто в грязном халате берет на себя неблагодарную роль прозектора – и бубнит посмертный диагноз сквозь эмоциональную подлинность воплей и причитаний.

Анатомизируя зловещую реальность советской власти, явленную нам Историей, нельзя не спросить себя – а не отвечает ли она чему-нибудь сокровенному и неотменимому в человеке? Не есть ли она единственный способ удовлетворить глубинные потребности нашего духа? Ведь и мы – такие, как есть, – сформировались не только вопреки ей, но и благодаря ей. Для нас – а, может быть, и для всего современного человечества – сказать правду о советской власти – значит сказать правду о самих себе.

Мы проиграли – и можем себе позволить быть бесстрашными. Никто сейчас кроме самых отъявленных мечтателей и фантазеров не надеется въехать на белом коне в ослепительно безмятежное прошлое. Прозектор не нуждается в милосердной лжи лечащего врача, потому что прозектор имеет дело с трупом.

...С тех пор, как умерла моя жена, по вечерам я скучаю. Не знаю, куда себя деть, бесцельно брожу по квартире, громко хлопая домашними туфлями, зажигаю и гашу свет в прихожей, бездумно глядя, как наливается теплой желтизной старинный матовый плафон, украшенный гроздью круглых хрустальных ягод. Читать я не могу, писать – тем более. Внутри черепа – ощущение тяжести и холодной нечистоты, будто голову наполнили кусками мороженой говядины.

«Нужно выпить!» – произношу я вслух и пугаюсь звуков собственного голоса. С тех пор, как умерла жена, во мне поселился распутный демон словообразования. После каждого разговора я вычищаю из ушей филологическую падаль. Прежде я только не любил Хлебникова, теперь – научился

ему сострадать. Вот и сейчас – я отправился на кухню за бутылкой и стаканом, а издыхающий инфинитив тем временем растекся во мне зловонной лужей (вы-пить, выпь-пить...) неуклюже забарахтались в этой луже «п» и «т», отыскивая недостающую букву «п», чтобы надеть на меня петлю, и закружилась надо мной, ныряя, голенастая птица выпь.

Я глотаю холодную водку, жую худую плоть маслины, катаю во рту соленую ребристую косточку. Беспрестанно бегаю к помойному ведру, чтобы опорожнить пепельницу, – запах мертвых окурков вызывает у меня приступы тошноты. Наливаю еще полстакана, тонкое стекло отпотевает в ладони нежными капельками влаги. Проклятое «выпить» постепенно затихает во мне (бедный Хлебников!). Я ложусь на диван и обзреваю, приподнявшись на локте, нашу (Господи, что же теперь делать?!) гостиную – павловскую мебель, настольные бронзовые часы с резвящимися купидонами, стереовертушку «Грюндиг», два натюрморта кисти Кончаловского, маленький рисунок Малевича в строгой черной рамке, чудесной сохранности Богоматерь ушаковского письма, книжные корешки во всю стену, отливающие золотом тиснения и тусклым блеском крупнозернистой кожи, – упоительный, дорогостоящий, безвкусный уют продажного гуманитария, шибаящий в нос несправедными деньгами. Подобную гостиную я вряд ли простил бы кому-нибудь из своих друзей. Друзей, впрочем, у меня нет.

Но себе – себе я прощаю все: ординарную пошлость житейских удобств, невысказанной прозрачности водку, купленную в сертификатной лавке, иконы и складни, опрятные томики Бердяева, изданные в Париже, и – самое позорное из моих сокровищ – номенклатурную безопасность баловня Кремля среди заикающейся от ужаса Москвы.

В своей тюремной исповеди заключенный № 33 Оскар Уайльд с гордым раскаянием признавался «дорогому Бози»: «Я пировал с пантерами!». Что ж! Времена изменились. В наши дни подобное признание прозвучало бы так: «Я пировал со свиньями!». Я прямо так и написал бы – не помор-

щившись, ни капельки не стыдись, – даже если бы моим корреспондентом был юный белокурый мальчик из аристократического семейства. Я стыжусь своих свиней не больше, чем стыдился бы уайльдовских пантер – всех этих Клибборнов и Атринсов – мертвенно бледных наркоманов и шулеров, наглых лакеев и букмекеров.

Отцы и деды моих свиней тоже были когда-то пантерами – на свой манер. Но их дети и внуки сделали головокружительную карьеру: обрели вальяжную солидность и полноту, утратив плотоядную худобу подонков; униженно-злое рычание сменилось самодовольным хрюканием; голодная заостренность звериной морды превратилась в округлую розовость рыла.

Свинья – существо не менее демоничное, чем пантера. Боюсь, что Уайльд слишком опозитизировал своих хищных сотрапезников – на процессе эти трусливые животные вели себя в высшей степени неэтично. Да и не пристало поэту *самому* оплачивать свои пирушки, и еще кормить при этом пантер, как поступал блистательный Оскар.

Его постигло банкротство – вполне заслуженное, как я считаю. Мое шампанское – я покупаю его иногда в «шопе» на Грузинской, хоть и не очень люблю – оплачивают свиньи. Иногда я даже пью вместе с ними, и не без удовольствия – свиньи понимают толк в пирах. Недаром свинья пожирает младенцев – не с голоду, а из чисто гастрономических побуждений. Думаю, что лондонские пантеры не были способны оценить по достоинству страсбургские паштеты и дроздов в виноградных листьях, что разорили бедного Уайльда. Лакей не может быть гурманом.

А размах? Уайтчепельские хищники робко обшаривали карманы подгулявшего клиента – и дрожмя дрожали, когда, проспавшись, добропорядочный искатель приключений затягивал истошный «караул» и отправлялся в полицию – восстанавливать свою десятифунтовую справедливость.

Мои же свиньи обобрали целый континент – и пользуются награбленным открыто и с достоинством, никого и ничего

не боясь. И клиент, как ни странно, тоже доволен – не то, что не жалуется, а прямо-таки изнемогает от счастья: пьет себе вермуток и «розовое крепкое» и марширует по праздникам дружными колоннами, воняя благодарным рабочим потом. Нет уж, если выбирать между пантерами и свиньями, я предпочитаю свиней.

Правда, гимнов свиньям я никогда не писал – и не хотел, и не сумел бы написать, даже если бы захотел. Свободомыслящая советская интеллигенция болтает на своих посиделках, будто стоит только кому-нибудь из них навалить такой гимн – и сей же момент обрушатся на него неистово вожделенные блага: цековский распределитель, дача по себестоимости и Мандельштам без очереди. И – праведно скорбная мина – будто уже и предлагали ему, свободолюбцу и страстотерпцу, все сокровища Грановитой палаты за пятиминутное славословие, будто искушали его и соблазняли, а он, по святости своей, с негодованием отверг. Тут что ни слово – то ложь.

Во-первых, – не предлагали – никому не предлагают. Во-вторых, – если б предложили, то ни за что не отказался бы, а почел бы за честь. В-третьих, – и писать бы не пришлось, потому что в заветном ящике уже много лет скучает заготовленная именно на этот случай плотная пачечка листов – не один гимн, а десятка три, целый Псалтырь, аккуратно перебеленная с рукописи, перепечатанная в пяти экземплярах – лежит себе и ждет покупателя. Пылится и желтеет, потому что покупателя нет и вряд ли будет.

Да и с чего это стала бы Власть оплачивать благодарственные молебны, когда искренне убеждена, что всецело их заслуживает? Вздумай мои свиньи щедро награждать каждый вопль: «Слава родной Партии!!! Слава советскому правительству!!!» – это было бы так же нелепо, как Шаляпину оплачивать комплименты своему певческому таланту, или Мэрлин Монро – отдаваться всякому проходимцу, похвалившему ее грудь. Проявления народной любви свиньям давно обрыдли – не меньше, чем поклонники – кинозвезде.

У них вполне развитый художественный вкус, хотя и несколько мещанский, но вполне благопристойный. Им нравится смотреть фильмы с участием Чарли Чаплина и слушать музыку Чайковского, они любят итальянскую оперу и русский балет. Аплодировать «Маршу коммунистических бригад» в исполнении Краснознаменного хора является их служебной обязанностью, но все их симпатии безоговорочно принадлежат Аркадию Райкину, «Лебединому озеру» и «Подмосковным вечерам».

Есть, конечно, преуспевающие одописцы – два-три на весь Союз, – но и эти, наверное, отхватили жирные куски лишь благодаря сугубо личным человеческим достоинствам – умению виртуозно жарить шашлык на природе, рассказывать армянские анекдоты и приводить хороших баб.

Вся остальная свора сочинителей благодарственных виршей, датовых поэм и пионерских приветствий к Женскому дню пребывает в безвестности и нищете, перебиваясь от праздника к празднику с хлеба на квас. Святая убежденность московского интеллигента в том, что можно выгодно продать мать родную, основана на совершеннейшем недоумении – этот товар сейчас не в цене, самая длинная очередь в нашей стране очередей состоит как раз из желающих продать родную мать – и все они отнюдь не склонны дорожиться.

Нет, гимнов свиньям я не писал. Ни на какой службе я тоже не числился – пробавлялся уроками и случайными переводами. Когда Ирина закончила институт – стало полегче, в доме появилась зарплата. Да и моя репутация переводчика значительно упрочилась – в моих руках любая калмыцкая мерзотина обретала некоторое благообразие, периферийные барды умели это ценить, без работы я не сидел. Так что на еду и на книги хватало, хотя до «полной чаши» нашему дому было куда как далеко.

Не могу сказать, что я совершенно равнодушен к материальным благам. Никогда не считал себя бессребреником. Но во мне с самой юности жило твердое убеждение, что

деньги придут ко мне сами – и не когда я захочу, а когда они захотят. А до этого момента я наотрез отказался суетиться, лежал целыми днями на диване и читал, читал, читал... на этом диване протекала вся моя жизнь – с дивана я вещал русскую литературу своим прыщавым ученицам, на диване терзал калмыцкие подстрочники, на диване писал стихи. Мои стихи... Я до сих пор испытываю к ним какую-то нежность, тоскливую любовь родителя к своему ребенку – идиоту.

Стихи я начал писать довольно поздно – в шестнадцать лет, и бросил писать довольно рано – годам к тридцати. За это время я не написал ни одного настоящего стиха. Сам я на этот счет никогда не заблуждался – разве что первые полчаса после окончания очередного опуса.

Но это не помешало мне сплотить вокруг себя кружок «ценителей» и «поклонников» – десятка полтора околотелитурной мелкой интеллигентствующей сволочи. С ними пил водку, но дружбы не водил, домой не звал и с Ириной не знакомил.

Вся эта погань (так и не выяснил, где они ухитрились *доставать* свои замшевые курточки и вельветовые брючки, а ведь спрашивал, – никто не сказал, ни один не проболтался), дружно клеймила меня за аполитичность.

Я долго им не поддавался – гражданские чувства меня обуревали, к «страданиям народа» я всегда был вполне безразличен (да и нет их, этих страданий, их выдумал Радищев – точно так же, как Уэллс выдумал своих марсиан).

Что же касается до интеллигенции – ее жалобные вопли меня совершенно не трогали. Лев Толстой сказал однажды: «Любимое занятие русского интеллигента – писать доносы». И уж чего-чего, а эту возможность советская власть им предоставила. Бешеные деньги тратит она, чтобы дать сочинителю доносов квалифицированного читателя. Пусть в редакциях журналов пыльными вавилонами лежат непрочитанные ро-

маны и поэмы, эпопеи и венки сонетов – зато каждый донос внимательно прочитывается и удостаивается приобщения к делу. Это и понятно – ведь именно в донос вкладывает всю свою мятежную душу грамотный русский человек.

Да и на что она жалуется – святая русская интеллигенция, воспетая Ивановым-Разумником? Будто ей *недоплачивают*. Как бы не так, недоплачивают! Ей постоянно переплачивают, странно, что ей вообще платят. Весь этот клан бездельников существует лишь благодаря тому, что у власти в России стоят выходцы из простонародья, исполненные плебейского благоговения к «учености» и «образованности». В любой нормальной стране наши интеллигенты просто умерли бы с голоду.

Приведу характерный анекдот. Моя знакомая переводчица, вполне благополучная особа, несмотря на то, что муж ее уже два года сидит без работы, беседовала как-то с одним американцем. Американец проявил вежливый интерес к ее бедственному положению (муж этой дамочки слыл диссидентом) и вежливо спросил, на что же они живут эти два года. Дамочка ответила, что полтора года назад сдала в редакцию большую работу, получила несколько тысяч рублей, так что с деньгами у них все в порядке и будет в порядке еще несколько месяцев.

«Какая же это была работа?» – осведомился американец. Ответ заставил его на несколько минут забыть обо всякой вежливости – варяг хохотал так, что его слеза прошибла. Он окончательно убедился в том, что Россия – страна чудес: разве где-нибудь еще возможно просуществовать несколько лет на деньги, заработанные переводами африканских поэтов? Кстати, моя знакомая так и не поняла, что его развеселило.

А еще любят говорить наши интеллигенты, что, мол, заставляют их лгать, кривить душой, и это им – нож острый. А особенно яростных поборников правды-матки прямо-таки сживают со свету – сажают в лагерь и отказываются повышать в должности. Не знаю, может, когда и бродили по России стада жертвенных идеалистов ( которым – Боже упаси осквернить язык ложью), хотя и с трудом верится – иначе куда бы они все делись (русская эмиграция гипертрофией

правдолюбия тоже не страдает)? Ныне же днем с огнем не сыщешь не то чтобы такого светоча (их на весь Союз не больше десятка осталось, да и те уже на Запад переехали или вещички собирают) – порядочного человека не сыщешь, чтобы лгал не по доброй охоте, а только за деньги или по принуждению.

Если бы в лагерь только правдолюбцев сажали – стоять бы им пустыми во веки веков. Одним Мандельштамом сыт не будешь. И, сколько нас не призывай жить не по лжи, не поможет: как и жить, если не по лжи? Шепчутся по углам интеллигенты – врут, мол, газеты, брешут сводки ЦСУ и Госплана. А кто, скажите, на милость, издает газеты? Кто составляет сводки? Наш брат русский интеллигент. Это он в своем кабинете скребет блудливым перышком реляции о перевыполнении плана: это он (он – а не Иосиф Виссарионович с Вячеславом Михайловичем) пишет роман «Далеко от Москвы» и снимает кинобоевик «Кубанские казаки». Нет уж, увольте меня навсегда от интеллигентских жалоб!

И так мое кодро с пеной у рта требовало, чтобы я «замахнулся» и «преступил» – а я все упирался, чем и лишал их материала для очередного донесения. И тогда они мне отомстили, «сделали» меня по большому счету. Господи, какой же я был молодой – думал, что их перехитрю!

Вдруг я стал замечать, что вокруг меня происходит какое-то шевеление. Малоознакомые люди таинственно отзывали меня в сторону и, оглядываясь, шептали: «Послушайте, дайте почитать...» – «Что?» – недоумевал я. – «Ну, как – что? То самое». – «О чем это вы?» – я уже начинал терять терпение, а собеседник, укоризненно качал головой, обиженно говорил: «Ну, конечно, если вы мне не доверяете...» Особенно настырные приходили ко мне домой – чего уже я совершенно не выносил – и доводили меня своими приставаниями до иступления. Сначала я попросту ничего не понимал, но постепенно картина прояснилась.

В широких литературных кругах Москвы стало доподлинно известно, что я написал книгу, в которой не только «замахнулся», но и «ниспроверг» – с таким сокрушительным

успехом, что ее действие можно сравнить лишь с тайфуном, извержением вулкана, землетрясением и другим столь же грозным явлением природы (какую книгу – роман, повесть, поэму или что-нибудь совсем немыслимое, – мне так и не удалось дознаться). Эту супербомбу я, естественно, тщательно скрываю от посторонних глаз. Но несколькими избранным счастливицам удалось заполучить ее на одну (незабываемую) ночь, и они, счастливицы, были ею потрясены. Назывались имена счастливиц. Они же хранили таинственное молчание – ничего не подтверждали и не опровергали.

Понятно, что вся свора замшевых идиотов стремилась во что бы то ни стало проникнуть в число избранных – для любого из них отрицательно ответить на каверзный вопрос: «А ты читал то самое?» – было равносильно гражданской гибели. Уверен, что многие отвечали на него утвердительно. Вскоре слухи пополнились одним существенным элементом: стали поговаривать, что мою книгу ищет ГБ. И уже это оказалось совершеннейшей правдой.

Разговор состоялся в казенном доме – хоть и не на Лубянке. Я был в Центральном Доме Литераторов – по средам я ходил туда на переводческий семинар.

На сей раз семинар отменился, как-то все узнали об этом заранее, никто не пришел, кроме меня, даже мое кодро, вечно околачивающееся в ЦДЛ, забастовало.

Я взял в буфете кофе и пару бутербродов с лососиной (лососинку, икру и сырокопченую колбасу едят в нашей стране только члены правительства, воры и самые отъявленные мерзавцы, так что все советские писатели, вне различия заслуг перед русской словесностью, могут свободно приобрести эти продукты в своем буфете) и присел за столик. Меня обтекал смрадный поток замшевых курточек, я изредка здоровался, кивая головой.

И вдруг частичка этого потока, наделенная сразу же двумя видовыми признаками принадлежности к культурной элите – с замшевой курточкой и вельветовыми штанами, –

выпала в осадок у моего столика. Мгновенно сотворив неизбежную чашечку кофе, частичка вежливо спросила: «К вам можно подсесть?»

Этот вопрос был для меня все равно что визитная карточка: в ЦДЛ никому и в голову не пришло бы его задавать, кроме человека, находящегося «при исполнении служебных обязанностей». В ЦДЛ даже записные сексоты «из своих» чувствуют себя, как дома – то есть обращаются ко всем на «ты», именуют малознакомых людей «старик» и «старичок», никогда не извиняются и блюют прямо на пол.

– Борис Петрович Шереметев? – спросила курточка.

– Он самый, – ответил я, – с кем имею честь?

– Меня зовут Игорь Иванович, – сказал он чопорно.

– А фамилия?

– Моя фамилия вам не понадобится, Борис Петрович.

– Охотно верю. Тогда разрешите узнать – а моя-то вам на что?

– У меня к вам очень важное дело.

– Касающееся моей фамилии?

– Дались же вам эти фамилии, – сказал он с преувеличенной досадой, так что сразу же становилось ясно – перепалка по поводу фамилии предвиделась им заранее и ответ был наготове, причем – удачный ответ. – Никогда не думал, что вы такой, – он поискал словечко поинтеллигентнее, но не преуспел, – формалист. Хотите *соблюсти этикет* (реванш бездарного «формалиста») – извольте (знай наших!). Вы, стало быть, Шереметев Борис Петрович. А я – Меньшиков, Игорь Иванович (ха-ха-ха!) – прошу любить и жаловать.

– Да вы, я вижу, шутник, светлейший. – Я решил вести себя светски и оценить его убогий юмор.

– Да и вам, говорят, пальцы в рот не клади, фельдмаршал, – благодарно откликнулся он.

– Кто это говорит? – задал я дурацкий вопрос (пора, пора, выходить из сценария!)

– Люди говорят, фельдмаршал, – он был мной явно доволен, – в последнее время о вас много говорят. Заключение-

ные слова прозвучали достаточно зловеще – и, надо сказать, эти интонации шли ему гораздо больше, чем тон великосветского сэра Генри!

Он весь подобрался и забарабанил по столу коротенькими пальцами с обкусанными ногтями, заросшими кожей почти наполовину, – плохо обученная дворняжка, беспородная тварь – из тех, что сидя выглядят выше, чем стоя, плоть от плоти этой страны, этого зачумленного города.

Мимо нас, как в дурном сне, шли, самодовольно сопя, седовласые члены Комиссий и Секретариатов, бежали коротко тьякая, околотелитературные юнцы и подлитературные шлюхи.

– Знаете что, любезный, – наконец, сказал я, – вы мне надоели. И пикироваться с вами мне недосуг. Шли бы вы от меня...

– Что это вы вдруг, – явно был ошарашен таким резким переходом, – я не давал повода... К нему почти вернулся светский тон...

– Да что вам от меня нужно? – я постепенно повышал голос, и на нас стали оглядываться. – Кто вы такой?

В его расчеты, очевидно, не входило привлекать внимание окружающих. Он поспешно встал и, наклонившись к моему уху, тихо произнес:

– Ну, сука, скоро я с тобой не так поговорю. Не хочешь по-хорошему – скажешь по-плохому. Сразу по-другому запоешь, фрайер...

– Ни в жисть не поверю, – отозвался я не без удовольствия, – чтоб ко мне еще раз такого мудака прислали. Тут я оказался совершенно прав – больше я его никогда не видел: думаю, что его лишили вельветово-замшевой спецовки и отстранили от управления русской литературой.

Он исчез так быстро, что я едва успел прокричать ему вслед:

– Что же ты не сказал дяде «до свидания», сволочь?

Но его бледно-палевые брючки уже мелькали неподалеку от гардероба. Я потянулся было к остывшему кофе и почув-

ствовал, как дрожат у меня руки. Стоило мне заметить это, как дрожь распространилась по всему телу. Не знаю, что меня так взволновало – обыкновенный советский страх, азарт и торжество одержанной мной мелкой победы или жуткое одиночество изгоя, который, словно гоголевский городничий, видит вокруг себя «одни свиные рыла»...

Он еще несколько секунд продолжал сверлить меня глазами, потом буркнул:

– Ладно. Подпишите протокол.

Я внимательно прочитал протокол – все было записано верно, если не считать нескольких орфографических ошибок – ей Богу, не слышал он никогда ни о каком Дрейфусе, да и Золя, может быть, не читал. Я поставил свою подпись.

– Все?

– Все. Можете идти.

Когда я выходил из особняка на улицу, пожилой милиционер, сидевший при дверях, встал, вышел за мной на улицу и долго смотрел мне вслед, пока я пересекал узкую Новокузнецкую, спотыкаясь о трамвайные рельсы, и удалялся по направлению к метро, задирая лицо к солнцу и оглядываясь изредка на милиционера и двери особняка...

Моего покойного отца, Петра Сергеевича Шереметева, погубила его беспристрастность. Чрезмерно развитая беспристрастность была единственной чертой, выделявшей Пьера Шереметева из числа сверстников его круга.

Во всех остальных отношениях он был вполне заурядной личностью – из хорошей семьи, в меру образованный, в меру состоятельный, в меру веселый – о таких говорят: «это глубоко порядочный человек» и «на Пьера можно положиться».

Но в силу какого-то трагического недоразумения Господь Бог наградил моего папашу таким уровнем всепонимания, что выдержать его могли бы разве что Сократ или Христос. Впрочем, до революции этот сомнительный дар судьбы мало проявлял себя в жизни молодого инженера электрика Пети

Шереметева – только мешал ему обзавестись какими-нибудь определенными политическими склонностями: Пьер умел найти рациональное зерно в доводах любой политической партии. Он понимал монархистов, пекущихся о непрерывности исконной русской исторической традиции, понимал конституционалистов, справедливо жаждущих гражданских свобод, понимал членов «Союза Михаила Архангела», выступающих против еврейского засилья, понимал и евреев, терроризированных деятельностью «Союза Михаила Архангела». Согласитесь, что подобный взгляд на вещи не способствует обретению твердой политической платформы.

До революции политическая индифферентность Петра Сергеевича не привлекала ничьего внимания – она даже неплохо гармонировала с его инженерством и «глубокой порядочностью». Но в семнадцатом году, когда настало время великого размежевания, его всепонимание вырыло глубокую пропасть между ним и его близкими. Все окружающие Петра Сергеевича люди принимали чью-нибудь сторону: забрасывали цветами автомобиль Александра Федоровича Керенского или с надеждой смотрели в сторону Корнилова, поддерживали оборванцев или призывали немедленно прекратить кровопролитие, аплодировали Чхеидзе или зывали к союзникам.

Люди в это время часто меняли свои взгляды, но в каждый отдельно взятый момент каждый отдельно взятый человек был страстно убежден, что поддерживает единственно справедливое дело, которое решит судьбу России.

Только инженер Шереметев держался от всего особняком – он не мог остановиться на чем-нибудь одном, потому что был в состоянии понять всех – интеллигентов, буржуа, рабочих, мужиков, эсэров, даже налетчиков...

В девятнадцатом году брат Петра Сергеевича, Николай, бежал на Юг, чтобы вступить там в Добровольческую армию. Петр отказался его сопровождать. Перед отъездом Николая между ними состоялся следующий примечательный разговор:

*Николай.* Ей Богу, Пьер, у меня не уместается в голове, как ты можешь сидеть спокойно и глядеть, что делает с Россией эта шайка бандитов, все эти Ленины, Троцкие, Бродские и Высоцкие! Все испоганено, все летит к черту – государство, церковь, мораль, наша личная жизнь, наконец! А ты сидишь и рассусоливаешь какие-то «за» и «против», будто речь не идет о жизни и смерти – нашей смерти и нашей жизни, слышишь, ты, тюфяк!

*Петр.* Видишь ли, Коля, ты, как и все остальные, видишь только одну сторону. Но ведь и большевиков можно понять – нельзя просто так взять и отмахнуться от их доводов.

*Николай.* Какие доводы, Пьер, какие доводы!? Боже мой, что ты говоришь! Посмотри, что они делают – убивают, насилуют, жгут – вот их доводы!

*Петр.* Да, Коля, время сейчас жестокое, я понимаю твои чувства. Более того – я отчасти их сам разделяю – я ж не каменный. Но постарайся подняться над чувствами, постарайся стать на точку зрения большевиков – ты увидишь, что и они на свой лад стремятся к справедливости.

*Николай.* Короче, Пьер, в последний раз тебя спрашиваю – ты едешь или нет?

*Петр.* Нет, Коля, я с тобой не поеду. Ты окончательно решил, кто твои враги («Не я решил – они сами решили», – выкрикнул Коля, но Пьер не дал себя прервать), так вот – ты все решил и знаешь, на чью сторону тебе стать. А как я могу стрелять в людей, которых признаю отчасти правыми?

...Дядя Коля живет сейчас в Париже. Он давно ушел от дел, его жена-француженка несколько лет назад умерла, дети – старший из двух сыновей – мой ровесник – преуспевают. Я иногда получаю от него письма; вспоминая брата, дядя Коля неизменно именуется его «наш бедный Пьер»...

В тридцать втором году Петр Сергеевич перешел работать в Моссельэлектро. Там он познакомился с чертежницей Розочкой Шварц – моей будущей матерью. Ему в ту пору было сорок два, ей двадцать четыре, так что по возрасту они

не очень-то подходили друг другу. Но так они не подходили друг другу по всему остальному!...

Судя по всему, отец мой в те годы был вполне благополучен – и даже более того – по советским понятиям. Его лояльность к советской власти была ею должным образом оценена, и он занимал все время немалые посты – несмотря на свое социальное происхождение и непартийность.

Жил он в прекрасном доме, расположенном в одном из тихих арбатских переулков. Его тридцатипятиметровая комната с отдельным от соседей телефоном, высокими лепными потолками и чудесными большими окнами вызывала зависть всех его знакомых – по тем временам было непостижимым счастьем получить такую *жилплощадь* на целую семью!

Петр Сергеевич считал себя старым холостяком – в его прошлой жизни как будто имел место некий брачный эпизод, но не оставил в ней никакого заметного следа, и Петр Сергеевич никогда о нем не вспоминал. Он вел удобную жизнь человека, на долю которого достались лишь приятные заботы: шил костюмы у портного Журкевича, часто посещал театры и концерты, покупал бронзу и фарфор.

Раз в неделю он собирал у себя дома друзей – попить, поболтать, составить партию в бридж или покер. Среди его друзей были поэты и актеры, музыканты и врачи, попадались и коммунисты, но все они принадлежали к самым изысканным кругам советской столицы, и, безусловно, были интереснейшими людьми, знакомством с которыми можно было гордиться.

Как могло прийти в голову этому уже начинающему стареть жуиру, этому ценителю живописи и балета, этому бонвивану и сибариту избрать спутницей жизни дочь местечкового парикмахера, пылающую неукротимым комсомольским энтузиазмом, яркую общественницу, непременно участницу всех учрежденческих мероприятий, Розочку Шварц? Это выше моего понимания. Я не обладаю способностью моего отца понимать все и всех.

Они познакомились, оказавшись участниками постановки силами коллектива какого-то водевиля, – кажется, Ильфа

и Петрова. Отца привлекли к постановке в силу его славы завязатого театрала и вальяжной внешности, без матери же просто не обходилась ни одна из подобных затей. Отцу – насколько я могу судить о нем – был глубоко противен хамский юмор этого водевиля, но отказать коллективу было не в его характере. К тому же, сама идея любительского спектакля ему импонировала – он, очевидно, счел ее наиболее безобидной формой проявления своего демократизма – отец был в то время главным инженером Моссельэлектро.

Премьера прошла вполне удачно – для всех, кроме моего отца, потому что через несколько дней после этого достопамятного спектакля Розалия Абрамовна Шварц стала его женой.

Что я могу сказать о моей матери? Я ее ненавижу, потому что мне трудно быть беспристрастным – еще раз повторяю, что этого качества от отца я не унаследовал.

Моя мать всю жизнь именовала себя «беспартийной коммунисткой». О товарище Сталине она говорила, жалостливо вздыхая: «Бедный! Он должен обо всех нас думать!» После его смерти, после «дела врачей», после всех жутких откровений «позднего реабилитанса», после кончины моего несчастного отца (я, кажется, несколько впал в дядишкин тон!), когда мы с Ириной навещали ее по праздникам Первого мая и Седьмого ноября, она, самодовольно оглядывая стол, заваленный жалкими деликатесами – фаршированной щукой, ветчиной и неряшливо нарезанным голландским сыром, – каждый раз произносила одну и ту же фразу. «Видишь, Боря, а ты вечно чем-то недоволен. А я вот благодарна советской власти, которая нам все это дала!»

Без всякого на то основания, мать всегда считала себя выше большинства окружающих. Она прозревала в себе какую-то невероятно сложную духовную жизнь и к соседям по квартире, сослуживцам и многим другим применяла уничижительную формулу – «эти простые люди». «Тетя Леля – совсем простая женщина», – говорила она о нашей соседке, добродушной толстухе, кормившей меня обедами, занимав-

шей нам очереди за яйцами и мукой, и оказывавшей нам несчетное количество иных мелких благодеяний.

В разговорах со мной самым часто употребляемым ею словом было слово «нервы!»: «Перестань! Ты действуешь мне на нервы!» или «Почему ты пришел так поздно? Я очень нервничала!» или «Ты совершенно не щадишь моих нервов!» Эти «нервы» – она произносила «нэрвы» – были, очевидно, неотъемлемым признаком тонкости ее душевной организации – простые люди «нэрвами» не страдали, может быть, вообще были их лишены.

Думаю, что в те шесть лет, которые мои родители прожили вместе, отцу неоднократно приходилось мобилизовать всю свою необыкновенную способность к всепониманию. В тридцать восьмом году – мне исполнился тогда год – его взяли. Мать, естественно, сейчас же от него отреклась, каялась на собрании в «потере бдительности» и «отсутствии классового чутья». Она уничтожила все фотографии отца, все его письма и изрядную долю книг, подозреваемых ею в причастности к отцовым преступлениям. На все вопросы от отца она отвечала торжественно: «У тебя нет отца! Но твоя несчастная мать, которую ты все время огорчаешь, сумеет воспитать тебя настоящим человеком!»

В своем разрушительном пылу мать наделила меня своей фамилией – я носил ее до шестнадцати лет – и своей национальностью – с ней я не расстался до сих пор. Об отце не знал ничего до пятидесят пятого года, когда из лагерей возвратилось то, что от него осталось. Фамилию отца я узнал из метрического свидетельства перед получением паспорта. О том, что я обладаю свободой выбора и в отношении национальности, я тогда как-то не размышлял.

Это утро запечатлелось в моей памяти с необыкновенной яркостью. Спустя много лет я понял, что оно развалило мою жизнь на две половины. До встречи с отцом – а ведь мне было тогда уже восемнадцать – место, отведенное мне в мироздании, занимало некое безликое существо с замороженной нравствен-

ностью – жрало, испражнялось, заседало в комсомольских комитетах и факультетских бюро, прижималось к женщинам в автобусах и ковыряло перед зеркалом прыщи. У теперешнего меня нет с ним ничего общего – я отрекаюсь от него, это был не я, мне отвратительна одна мысль о том, что мое лицо было когда-то его лицом, мой голос – его голосом, мое тело и мои желания – его телом и его желаниями.

Я не могу даже приблизительно реконструировать мотивации его поступков, исходя из моих нынешних склонностей и вкусов. Зачем, к примеру, ему понадобилось поступать в химико-технологический институт? Может быть, у него были какие-то свои соображения на этот счет? Или он просто послушался совета его матери, бабы в засаленном халате, с крупнопористым носом и жесткими седыми волосами на подбородке, упрямо вырастающими снова и снова, сколько их не выдирай?

Или – что побуждало его травить Елену Викторовну, учительницу по литературе, маленькую замотанную женщину, обремененную большой семьей и горами непроверенных сочинений? Почти на каждом ее уроке он вставал и произносил, похваляясь своей копеечной эрудицией: «А вот Писарев говорит, что Пушкин низкопоклонничал перед царем...» или что-нибудь в этом роде. Плоскогрудые классные афродиты взирали на него с восхищением.

Елена Викторовна беспомощно щурила свои большие подслеповатые глаза и бормотала (где ей, мученице двух кругов советского ада – школьного и домашнего, – было перечитывать перлы писаревского словоблудия!): «Ты прав, Боря, напомнив нам, о точке зрения Писарева. Я сама хотела рассказать об этом на следующем уроке...»

...Было около девяти часов утра. Мать уже ушла на работу. Я, как всегда, опаздывал на первую лекцию и торопливо глотал непременно утреннюю яичницу, когда в дверь позвонили.

Я шел по коридору, заставленному вешалками и сундуками, освещенному марганцевым светом экономной лампочки.

Заклокотала вода в унитазе – из сортира величаво выплыла семипудовая тетя Леля в сиреновой комбинации, отороченной кружевами.

На кухне звякали кастрюли. Откуда-то доносился утробный рык Левитана, замогильно вещавшего об очередном невыполнении плана. Моя мать любила повторять анекдот времен войны, что будто бы Гитлер после захвата Москвы первым делом намеревался повесить Сталина и Левитана. Если это так, то могу сказать, что в данном случае я полностью на стороне Гитлера.

Я открыл дверь...

На лестничной площадке стоял высокий сгорбленный старик, обутый в громадные деревенские валенки. На нем была новенькая черная телогрейка и синие ватные штаны. Он тяжело опирался на гладко оструганную круглую палку – на такие палки надевают лопаты, метлы и платяные щетки.

Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Я заметил, что его лицо покрыто розовыми шелушащимися пятнами, а на правой руке не хватает двух пальцев.

– Вам кого? – наконец спросил я почему-то охрипшим голосом.

– Розалию Абрамовну или Борю. Когда он открыл рот, я поразился его абсолютно голым деснам, но, несмотря на полное отсутствие зубов, он почему-то не шамкал, а говорил вполне ясно, даже как-то выговаривая каждое слово.

– Боря – это я.

– Вы? – он шагнул через порог и снова остановился – теперь совсем близко от меня. – Значит – это вы. Ну, что ж – давайте знакомиться. Меня зовут Петр Сергеевич Шереметев. Я, собственно, ваш отец...

И тут я почувствовал, что на меня валится мое будущее, тяжело ломая хлипкие временки налаженного существования, жизненных планов, удобных связей и привычной лжи. Я почему-то сразу поверил этому старику, хотя никогда не думал о своем отце, не интересовался, жив он или умер, давно уже не пытался о нем расспрашивать и фамилию сменил только

для того, чтобы досадить матери. И эта безоговорочная вера, эта безропотная готовность принять все, что приносит нам судьба («как мелки с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас...») приоткрыли будущего меня, утвердили навеки вечные – пока буду видеть, слышать и дышать.

– Проходите, пожалуйста, – я посторонился, и он уверенно зашагал по коридору, пришаркивая валенками и громко стуча палкой.

Он долго оглядывал комнату – думаю, что со времени его ареста в ней мало что изменилось, – деревянные шестиугольные часы на стене – раз в неделю я заводил их витым медным ключиком, громадный шкаф с башенками, карнизами и колонками, похожий на средневековый замок, книжные полки – за эти годы на них почти ничего не прибавилось. «Вполне можно сходить в библиотеку», – говорила мать.

Он прислонил палку к буфету, подошел к полкам и бережно вынул с самого верха толстую запыленную книгу в серой обложке – «Сочинения П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона. Его длинные пальцы с чудовищно увеличенными суставами нежно гладили старую бумагу. Он, казалось, совершенно забыл обо мне. Я переступил с ноги на ногу, тихонько кашлянул. Он торопливо поставил книгу на место и обернулся ко мне, виновато улыбаясь:

– Простите, Боря. Я, знаете, так давно не видел эту книгу – а она стоит себе там же, где стояла, будто ничего не случилось. Вы ее, конечно, прочитали?

– Она же почти вся по-французски...

– Ах, да, я и забыл. Ну, ничего – когда-нибудь почитаете. А мать на работе?

– На работе, – в моем голосе прозвучало, очевидно, нечто, заставившее его укоризненно покачать головой:

– Не надо так, Боря. Не нам судить...

Это «нам» меня настолько потрясло, что я окончательно потерял способность как-то реагировать на происходящее. Он тоже молчал, доброжелательно поглядывая на меня вы-

цветшими голубыми глазами. Вдруг он, словно почувствовав что-то неладное, перевел глаза вниз, к своим валенкам – вокруг них растекалась, все увеличиваясь, большая грязная лужа. Когда он снова поднял глаза ко мне, в них скользило отчаяние:

– Господи, что я наделал!..

Эти валенки – будь они благословенны! – вывели, наконец, меня из летаргического состояния:

– Что вы, это совершенная чепуха, не обращайтесь внимания, сейчас я возьму тряпку и все вытру. Снимайте валенки, у вас, наверное, ноги промокли, вот – наденьте мои тапочки. И телогрейку снимайте, у нас очень жарко топят. Вы, наверное, есть хотите – я сейчас сделаю яичницу. И еще у нас есть суп, хотите супу? Или нет – зачем же утром суп, мы поедим на обед. Вам сколько яиц – три, четыре? Может, вы любите с грудинкой – у нас есть грудинка. Вы посидите тут минуточку – я быстро. Или прилягьте – вот сюда, на тахту, я только постель застелю. Я подушку оставлю – вы не беспокойтесь, мать вчера только наволочку меняла...

Отец прелечь отказался, но во всем остальном покорно следовал моим указаниям – снял валенки, телогрейку, оставшись в бязевой нижней рубаше с обломанными тонкими пуговицами, надел мои тапочки и присел к столу.

Поесть он тоже не отказывался. Я бегал по комнате, бестолково распахивая – с глаз долой! – раскиданные в утреннем беспорядке вещи. Через пять минут я летел на кухню, размахивая сковородкой, жарить яичницу. Я страшно торопился – будто боялся, что он уйдет, не дождавшись моей стряпни.

Но, поставив на край плиты сковородку, я неожиданно для самого себя возвратился в коридор и постучал к тете Леле. «Да-да!» – крикнула из комнаты тетя Леля. И тогда я просунул голову в полуоткрытую дверь и сказал: «Тетя Леля! Мой папа вернулся!»

Я сидел за столом напротив отца и смотрел, как он ест: медленно, аккуратно, откусывая (чем!) маленькие кусочки

хлеба и стараясь не класть вилку на стол, чтобы не испачкать клеенку. Как только он положил в рот последний кусочек, которым дочиста вытер тарелку, я сорвался на кухню за чайником. Когда возвратился, на столе перед ним лежала непочатая пачка «Севера» и спички.

– У вас курить можно?

– Конечно, можно, – о чем вы спрашиваете? Сейчас я дам пепельницу.

Он зажег спичку, взглянул на пепельницу – да так и не прикурил, спичка продолжала гореть и огонь уже подбирался к пальцам, но он, казалось, не чувствовал жара:

– Смотрите-ка, и пепельница та же... может ничего и не было, а?

– Вы обожжетесь, – робко сказал я.

– Обожгусь? – очнулся он, – не страшно, даже если я обожгусь. У меня шкура толстая, все выдержит.

Он, наконец, закурил и на лице его выразилось какое-то детское блаженство.

– Закурю – и радуюсь, как дурак. Я и папиросы покупаю, чтоб курить поменьше хотелось. А то ведь я сигареты люблю. А вы курите?

– Курю.

– Что?

– «Дукат».

– Знаете, Боря, а не дадите ли вы мне сигаретку – побалую себя после завтрака.

Он курил и все поглядывал на меня. Я понимал, что надо поддержать разговор, но язык словно присох к зубам. А он, видно, умел молчать.

– Вы разве не знали, что я могу приехать днями? – спросил он вдруг как-то смущенно. – Я Розе писал.

– Не знал, – злые слезы брызнули из моих глаз, – не знал.

– Не огорчайтесь, Боря, ничего страшного, – он смутился еще больше, – может, просто письмо не дошло, откуда я приехал, письма плохо идут.

Но по его голосу я чувствовал, что в это почтовое недоразумение он ни капли не верит. Я тоже не верил. Мы опять замолчали. Я вытер рукавом глаза, закурил, стараясь держать сигарету так, как держат ее заправские курильщики, и спросил:

– А вы откуда приехали?

– Из Чокурдах. Не слышали? Есть такое место на земле – поселок Чокурдах.

– Где это?

– В Сибири, в устье Индигирки, за восемьдесят километров от Северного Ледовитого. У черта на рогах.

– А что там есть?

– Ничего там нет. Лагеря, якуты и комары – вот и все. Летом еще грибы есть – одни подберезовики, но зато много.

– А северное сияние вы видели?

– Видел.

– Очень красиво?

– Глаз не оторвешь.

Я понял, что сморозил глупость.

– Хотите еще чаю, пока чайник горячий?

– Нет, Боря, спасибо. Чаю мне больше что-то не хочется. А вот вы мне прилечь предлагали – сейчас бы я не отказался. Не спать, а полежал бы с книжкой – сто лет не лежал на диване с книжкой.

– Что вы, конечно ложитесь. Дать вам одеяло?

– Спасибо. Одеяла мне не надо.

Почти не глядя, он взял с полки какую-то книгу – кажется, «Графа Монте-Кристо», – и улегся, блаженно кряхтя и приговаривая: «Господи, хорошо-то как!» Я стал прибираться со стола.

Через несколько минут я украдкой взглянул в сторону тахты – отец спал, уронив книгу на грудь...

*Из архива О. Постниковой*

Татьяна Кайсарова

**«...Под поминальные колокола»**

\* \* \*

*Да мне ль не плыть? Годами-вёрстами  
Уже давно отмечен путь.  
Заманчивыми снами-грёзами  
Меня нетрудно обмануть.*

*Отмеривая лунной мерою  
Немеренную глубь воды,  
Я так же, как в звезду, уверую  
И в отражение звезды.*

*Заслушаюсь дельфиньим посвистом,  
Летящим через толщу вод –*

*Пусть океан под млечным отсветом  
Волной качает небосвод.*

\* \* \*

*Под отблески реки и плески  
Ложусь на отмель, где песок:  
Струится утра ток небесный  
И ток воды прохладно-пресной,  
И времени незримый ток.*

*И душу небо озаряет  
Сквозь облаков разъятый круг.  
Мальков встревоженная стая,  
Как будто небыль проплывает  
Под плавниками лёгких рук.*

*С далёких храмов льются звоны,  
Поёт прозрачная вода.  
Из прошлого глухие стоны  
За ближним поворотом тонут,  
Чтоб не вернуться никогда.*

*Уже ложатся рядом выси,  
Не потревожив глади вод.  
И облака легки, как мысли...*

*Мерца я рябью серебристой,  
Река сквозь Млечный путь плывёт.*

\* \* \*

*Растерянность тумана. Тишина.  
Ущербный месяц в ясном ореоле,  
И полусвет в плену у полусна,  
И летний сад в предутренней неволе...*

*Так неогляден мир над головой –  
Там за оградой, сразу – бесконечность...  
И лишь ожог крапивы огневой  
Напоминает вдруг, что жизнь не вечна.*

*Что жизнь твоя всего лишь поворот  
От утра к ночи, от высот к забвенью.  
А чёрный кот – соседский чёрный кот –  
Сквозь щель субботы видит воскресенье.*

\* \* \*

*Ты говоришь: «Не заглядывай выше.  
Что тебе этот ночной небосвод?..»  
Жёлтые звёзды всё дальше. Всё ближе  
Этой лукавой луны поворот.  
Вот и пурга принесла передышку...  
Взглядом касаюсь махровых ветвей.  
Чувствую: снег шелестит еле слышно,  
Звёзды прозрачнее, выси светлей.  
Небо поманит в просторные ниши,  
Жалобно скрипнет надтреснутый наст...  
Визу младенчески белые крыши –  
Эту короткую жизнь без прикрас.*

\* \* \*

*И благодать небес слетает  
В незримые поля.  
Плывёт туман, плывёт и тает  
В далёких ковылях.*

*В оврагах росы высыхают,  
В леса уходит тать,  
Но ни одна душа земная  
Не встретит благодать.*

*Над миром – звёзд пустые гнёзда,  
Край света за спиной,  
И перевозчик сушит вёсла  
На отмели земной.*

### Запах памяти

*Я слышу, как за мной свернулось время  
Простым рулоном, нитяным клубком.  
Ещё разлучена я не со всеми,  
И далеко не каждый мне знаком.*

*Неслышно растворились и пропали,  
Ещё недавно шедшие со мной.  
На грифельной доске витки спирали,  
Как чей-то путь, мне кажется, что мой.*

*Он начинался, как у всех с рожденья.  
Так лёгок запах памяти... Когда  
Внезапно возникает отчужденье,  
Струясь неотвратимо сквозь года?*

*А дальше – больше: мы уже, как ветки,  
Стремительно отходим от ствола,  
Сперва на время, а затем навеки,  
Под поминальные колокола.*

\* \* \*

*Старое крыльцо. Ступенька узкая  
Стала мне скамейкой у земли.  
Ветерок заигрывает с блузкою,  
Солнце опускается вдали.*

*Не в морскую глубь, в осины синие,  
Медленно закатится оно –  
И наступит тьма невыносимая,  
Будто сразу бросили на дно.*

*Что ни шорох – то возня крысиная,  
Что ни шаг – последняя черта...  
Запах жизни, смерти и бессилия  
Впитывает губкой темнота.*

*Между этим дном и поднебесьем,  
Невозможным скопищем пустот,  
Кто-то горстку звёзд уже отвесил  
И швырнул на чёрный небосвод.*

*Стало всё знакомо и привычно,  
Всё определилось наяву.*

*Лишь плутает где-то электричка  
Со своим назойливым «Ау...».*

\* \* \*

*Россия уходит, уходит –  
Топорчатся пнями леса...  
Уже вдалеке на исходе  
Зияет беды полоса.  
Как белая ночь, неоглядна  
Степная безмолвная гладь...  
Россия, не надо, не надо  
Просторы свои покидать!  
Никто не предскажет, что будет –  
Уже исчезает фонтом...  
Кто лоб твой, Россия, остудит  
Титановым голым крестом?  
В агонии зла и обмана  
Кто вспомнит твои имена?*

*Опустится полог тумана,  
Поднимутся камни со дна...*

### Домой

*Осенний вечер гасит фары дня.  
Теперь толпа глазаёт близоруко  
На блики отражённого огня,  
И как в немом кино – не слышно звука.*

*Я направляюсь к отчим берегам:  
Обыденский в Остоженку вольётся,  
Пречистенка на зов их отзовется  
И снова припадёт к моим ногам.*

*Но в тесноте несметных повторений:  
Фасадов, окон, лестниц, колоннад...  
Уже я вижу – тянутся сирени  
Ко мне навстречу, прямо из оград.*

*Сама свой код мне высветит калитка –  
Я снова дома! Разве ты не рад,  
В кольце колец зажатый, как улитка,  
Мой старый друг, мой выдумщик – Арбат.*

\* \* \*

*Расписали нам жизнь в старых книгах амбарных,  
Кто-то галочки выставил в смертной строке,  
Но закат обернулся нелепым пожаром,  
А надежда – последней полушкой в руке.*

*Поднимались грачи каждой осенью в небо,  
Пролетали над сёлами в дыры дымов,  
Оставляли российскую быль, словно небыль,  
На фаянсовом блюде унылых снегов...*

*И она на потеху Судьбе оставалась,  
Вся в застиранном белом – исподнем своём,  
В кабаках пропивалась, терялась, стералась  
В окаянном чаду между небом и дном.*

*Оглянуться не смей! Ничего не осталось:  
Неприкаянный брат забывает сестру...  
Наших душ опустевших ничтожную малость  
Пролетая, грачи унесут поутру.*

\* \* \*

*О, эти птичьи крики над водой!  
Не чайки? Чайки!  
Может быть, случайно,  
Ночами небо жертвует звездой,  
Полёт не обозначив, изначально.*

*А чайки от бессилия кричат,  
И ищут звезд обманчивые зёрна...  
Всего одно из тысячи начал  
И перед нами небо распростёрло!*

*И длятся птичьи крики над водой:  
Всё кажется – печаль в печали тонет,  
И лишь у скал, под пеною седой,  
Безумная волна от счастья стонет.*

### В дороге

*Темень вышита огнями,  
В жгучих росах стынет мгла,  
Оглушая ночь гудками,  
Поезд выпустил крыла.*

*Перестук колёс. Морока  
В колыханье лёгких штор...  
Как волнение до срока –  
Вздохи тяжкие рессор.*

*Машинист пути не ищет –  
Режет сталью темноту,  
Встречный ветер дико свищет –  
Ловит эхо налету...*

*И в неистовом движенье  
Странен мыслей вещей ход:  
Ночи светопреставленье –  
Словно жизни поворот.*

\* \* \*

*Все отрешенней становлюсь,  
Меняю лёгкий смех на грусть,  
Как цвет губной помады —  
Мне ничего не надо!*

*В ветвях рассытав вороньё,  
Глядит Отечество моё  
На сонные кварталы  
Так равнодушно — вяло.*

*Ему и вправду всё равно,  
Раз подданным его дано  
Внимать пустому бреду,  
Терпеть пинки и беды.*

*Нет, я не плачу. Для чего  
Щелить морщинами чело?  
Тоска да сердце в клочья —  
Кому могу помочь я?*

*От Покровá до Покровá  
Ронять без устали слова  
В глухое равнодушьё  
От вздоха до удушья...*

\* \* \*

*Снова день, снова рельсы разводами,  
Вновь колёс переменчивый стук,  
И мосты опрокинуты сводами  
Над судьбой наших встреч и разлук.*

*Канитель за вагонными окнами  
Подмосковной дорожной весны,  
Утекают незримыми стоками  
Мутноватые зимние сны.*

*Товарняк завывает за насытью,  
Словно март невидим и незряч,  
Заглушая гудками напрасными  
Чей-то зов – то ли крик, то ли плач...*

*А кругом перестуки и скрежеты –  
Монотонность движений скучна...  
И бегут поезда мои – беженцы,  
По твоим коридорам весна.*

*Засыпаю – мне снятся подснежники,  
Дотянуться до них не могу.  
А душа так и полнится нежностью  
К первым травам на ближнем лугу.*

\* \* \*

*Не дремлется. Пойду к луне  
Чернотами осенних грядок...  
Ноябрь, прислонись ко мне –  
Твой дивный запах прян и сладок.*

*Пригрейся первым холодком,  
Уткнись в плечо, зайдись рыданьем:  
Ты не один здесь обречён –  
Мы все в капкане расставаний.*

*Нас всех настигнет снежность зим:  
Сперва – шершавую порошей,  
Потом полётом пуховым  
И, наконец, сугробов ношей.*

*Не плачь, мы встретимся опять.  
Молись, ноябрь, о новой встрече.  
Твоих чернот косую пядь  
Я так же, как сегодня встречу.*

Александр Зорин

## Веянье веселого ужаса

*Литературное эссе*

В начале шестидесятых годов на прилавках книжных магазинов валялся уцененный том стихотворений и поэм Павла Васильева. Выпущенный Госиздатом солидный том в крепком переплете стоил позорно дешево: тридцать копеек. Я скупал его пачками и дарил своим знакомым, советуя не обращать внимания на оглавление, где мелькали устрашающие названия, вроде – «Песня о Ленине», «Товарищ Джурбай», «Демьяну Бедному»...

И в самом деле, какой приличный стихотворец мог всерьез принимать бедного Демьяна, о котором, к тому же, стало известно, что он в зловещие времена чисток и писательских арестов успешно мародерствовал, – забирал все лучшее из конфискованных библиотек в свою, оборудованную в Кремле.

Потепление политического климата после XX съезда партии действовало и на общественную жизнь, и на литературу. На месте вечной мерзлоты захлюпало «оттепельное» болото. Ура-патриотическая поэзия отступила в небытие. Бедные, жаровы, безыменные, уткины и прочие водоплавающие громоздились груды в тех же магазинах, пока недремлющий Книготорг не сплавлял их на безропотную периферию.

Поэзию Васильева устрашающая идейность могла, конечно, скомпрометировать. Наугад открывалось: «Здесь просится

каждый набухнувший колос в социалистический герб». Или подозрительно-знакомое: «В какой другой стране еще такая вольность есть и братство?» И уж совсем неприличное: «...мы живем в стране хорошей, где зреет труд, а не война».

Однако меня не оскорблял этот пневматический пафос. Он характерен для эпохи первых пятилеток, слился с нею, как новояз, как абракадабра аббревиатур: МОПР, ОСОАВИАХИМ.

У Васильева идеология соприкасалась с поэтикой по касательной. Но действовала, как возбудитель подлинной энергии. Так, изъятые из земных недр моря нефти оставляют полости, вызывающие сдвиги земной коры, тектонические сбросы, землетрясения.

Природа, как известно, не терпит пустоты. Свято место пусто не бывает. «Очищенное» от святости, оно тут же отдает себя идолу, идеологии, идее (семантически близкие понятия).

В Васильеве клокотала энергия потрясающей мощи. Она завораживала, как будто вырывалась из жерла действующего вулкана вместе с лавой и пеплом. Лава не остыла по сей день и, выражаясь языком геологии, содержит в себе редкие элементы, а взвихренный «передовыми» идеями пепел покружил в воздухе и опал.

Его творчество сопоставимо с катаклизмом – явлением природного порядка, включенным в круговорот вещества. Никакой метафизики, – если забыть, что поэзия все-таки дитя гармонии и тяготеет к началу духовному, сверхприродному. Но дитя гармонии бывает вскормлено той духовностью, что некогда внушила нашим прародителям соблазнительную власть над миром.

Талант – категория нейтральная. Его развитие и полнота зависят от духовности, которая его питает, разрушительной или жизнотворной. Бог дал поэту талант, страна, бурлящая революционными токами, напитала его от своих сосцов.

*Страна* – одно из самых употребительных слов в васильевском словаре. Как будто смысл, заключенный в этом сло-

ве, носит бытийный оттенок. Революция посулила народам сверхнациональную общность – сначала в размерах страны, потом всего земного шара. А Васильев – родом из Казахстана... Азия, которая у нас в крови, давала себя знать с удесятеренной силой в этнической близости.

Сверхнациональное единство имело для него смутное, но очень важное значение. Это был эмбрион религиозного сознания, вытесненный патриотическим чувством, обращенным к *стране* – к безликому большому, не имеющему лица: *«Мир огромен, и подруги молча вдоль него стоят»*.

Дети революции, отринув Божью – Отцовскую – любовь, остались даже не с матерью-землей, а с матерью-страной, которая для всех обернулась мачехой и которую, такую разноплеменную, они совсем не знали. Как слепые котята, они расползлись по ее телу, ощупывая незнакомую местность, ее черты, ее морщины.

Павел Васильев вырвался из родного Павлодара совсем юношей и лет пять колесил по Сибири, Дальнему Востоку, Алтаю. Азарт узнавания требовал новых и новых впечатлений. Из Хабаровска он пишет своей подруге: *«Мне необходимы морские купания и «веселая жизнь» – то есть жизнь, полная развлечений...»* А дальше с неюношеской пронизательностью – о том, чего, может быть, ему недоставало всю жизнь, но что человек не может обрести без Божьего благоговения:

*«...Ира! Передо мной открылись сейчас очень широкие перспективы. Я полон творческой энергии, и все же порой мне бывает неизмеримо грустно. Чего-то не хватает. Чего – сам не пойму. Я ищу успокоения в вине, в шумных вечеринках, в литературных скандалах, в непреодолимо трудных маршрутах, в приключениях, доступных немногим, – и нигде не могу найти этого успокоения. Бывают минуты, когда мир пуст для меня, когда собственные достижения мои кажутся мне ничтожными и ненужными...»*

*Где-то внутри меня растет жадная огромная неудовлетворенность... Чего надо еще мне?*

*Изъездить весь мир? Я делаю это. Вина? Оно есть у меня. Денег? – Я не нуждаюсь в чересчурных деньгах, а необходимое у меня всегда есть.*

*Славы? – Я уверен, что приобрету ее...*

*Любви?.. Может быть, именно этого недостает мне. Любви – этого всепожирающего огня, этой волны чувств человеческих я еще не испытал... Но порой во мне вспыхивает нежность, теплая, восхитительно звучащая нежность...»*

Новые впечатления... Он имел их в избытке, отработывая талантливой очерковой прозой и поэзией. Это была заказная продукция. Условия заказа исключали серьезный анализ событий и впечатлений. Впрочем, взгляд поэта совпадал с общепринятым, рассекшим мир на две половины: черную и белую. На самом же деле он славил мир, который был рассадником войны. Азартно призывал: *«Чтобы республика зацвела, / Щедрой рукой посеем свинец»*. Знал ли, что передразнивает библейскую мудрость: *«Они сеяли ветер... пожнут бурю»?* (Осия, 8.7.)

Хаос, вызванный революцией, сорвал с мест целые народы. Пустели деревни, разбухали города, вырастали новые поселения. Большевикам пришлось снова ввести паспортный режим, чтобы приостановить миграцию.

Строгий паспортный режим особенно помог им в пору насильственного переселения народов. Подвижное, а точнее, подвешенное состояние естественно для человека советской эпохи. *«Мы живем, под собою не чуя страны»* (Мандельштам) сказано довольно мягко для человека, находящегося в пасти зверя, тоталитарного государства. Родина-страна, как гойевский Сатурн, пожирала своих детей. До Васильева еще очередь не дошла, хотя холодок ее клыков он уже отведал. Но – чтобы проглотила совсем... В это он поверить не мог, как не верит цветущая молодость в скорую старость.

Его родина была сказочно свирепа и несметно богата. От нее унаследовал он лютую силу изображения. От нее, а не только от семьи. Отец – учитель математики – имел деспотический характер. Дед – церковный староста – загонял внуков

в храм, выстаивать обедню. Бабушка – тоже религиозная, но при этом известная в округе ворожея.

Его окружало то самое православие, что воспитало не одно поколение безбожников. Попы, которых он поминает в поэмах, – пузатые, пьяные, алчные – написаны явно с натуры. Архиерейское богослужение – тоже: «...распускался павлиний хвост, / Византийский, / Глазастый / Хвост православия». Религиозные ассоциации возникают в странном сближении. Например: «...топор нашаривал в поленьях... как середь ночи ищут крест». Или: «Лентою пулеметной перекрестись, матрос». Или: «Сквозь зубы молитвенно матерясь». А то и еще хлестче: «И покуда хлеба крестили, в пузо всаживая им нож». Это не бравада дозволенного богохульства. Это глубже. Это наболевшая месть. За суеверие, за невежество и насилие. За самодовольство, распустившее в церкви павлиний хвост. Накипевшая горечь, как у Есенина, который подал пример обдуманной мстительности: «Тело, Христово тело выплевываю изо рта».

«Во всем виноваты священники», – говорит один из героев романа Грэма Грина «Сила и слава», посвященного судьбе церкви в антиклирикальном государстве. Во всем или не во всем – не нам судить... Но суд Божий начинается, по слову пророка, с суда над домом Божьим, то есть над церковью, и русская революция, и близкая к ней мексиканская еще раз напомнили об этом в XX веке...

Однажды Павел был исключен из школы на месяц и выпорот отцом за то, что сломал крест на церковной ограде. А сломал, мстя грамотному священнику-обновленцу, который на публичном диспуте бойко побивал антирелигиозников и одержал над ними полную победу. Павлу это показалось несправедливым, и он свою правоту доказал поступком.

В «Автобиографических главах» он вспоминает о доме: «Рыщет свет лампад, / В углах подвешен. Книга «Жития / Святых», псалмы». Это жутковатое «рыщет» перебрасывается от мигающего света к стоящему за ним лику... Традиционный религиозный уклад не преподал ему примеров святости.

Возможно, что их и не было в обозримом окружении, зажиточном и беспроблемном.

В отличие от Есенина и Маяковского, чей богоборческий пафос укоренен в библейском подтексте, про Васильева можно сказать, что Книга книг для него не существовала, будто он никогда ее в руках не держал. Христианство становилось атрибутом отмирающей жизни, и интерес к христианству он испытывал нулевой.

*«Дышал легко станичный город наш, / Лишь обожравшись – тяжело».* Понятно, что он бежал от этой утробной жизни и потом зарекался: «Ни за что не вернусь назад». Более того, все, что было дорого матери, он «на пути своем» уничтожает, чувствуя «звериное дыхание» молодости за собою. Прошлое надо вычеркнуть из памяти и забыть. Вот оно, первое поколение убежденных манкуртов. Это отвращение от прошлого тоже близко есенинскому: *«И молиться не учи меня. Не надо! / К старому возврата больше нет».*

Только Павел Васильев несравненно решительнее в своих зароках: для памяти, если она поворачивается к старому, он «приготовил кнут», чтобы хлестать «ее по морде домоседской». Прошлое не имеет никакой цены, оно обветшало, истлело, ни с каких кораблей современности его сбрасывать не надо, оно само себя потопило в поступательном ходе времени: *«Зеленые стрелы взошедшей пшеницы / Проколот глазницы пустых черепов».* Заманчиво «найти башку, потерянную в поле», то есть отрубленную когда-то в гражданскую войну голову, «и зачерпнуть башкою той вина». Подобная удаля, навевающая веселый ужас, очень характерна для умонастроения поэта. Как будто ему неведома цена человеческой жизни. Для природного циклического бытия жизнь и смерть тождественны.

Особей, объединенных в стаю, роднило *«одно чутье, темное, как у волка, – кровная с революцией связь».* Кровь – знак племени, та самая материальная сила, которая, перетекая из сосуда в сосуд, неистощима, как перпетуум мобиле. Базаровский нигилизм, отрицающий посмертную жизнь, увенчивался лопухом на могиле: все, что останется от человека. Васильев-

ский оптимизм окрылен верой, что вырастет дуб, а не лопух. А он-то уж *«череп развалит, высосет соки, / чтоб снова заставить их жить и петь»*. Такая вот диалектика бессмертия, нацеленная на светлое будущее.

Советская литература всегда гордилась тем, что усвоила уроки натуральной школы. Ее адепты охотно приняли бы Васильева в свои ряды. Его большие вещи, эпического склада, и многие мелкие, похожие на фрагменты поэм, близки по фактуре к физиологическому очерку. Предметы, отношения, характеры выписаны крупно и впечатляюще. В них заложена сила, измерение которой одно – физическое. А действие ее направлено в основном на разрушение. Разрушению сопутствуют завораживающие краски и бешеная энергия.

Кто из русских классиков не коснулся дикости наших нравов, народных обычаев. Охотники помериться силой выходили стенкой на стенку. Но у Васильева эта старинная отеческая забава приправлена небывалой яростью: *«Хари хрустят, бьют сатаня...»* Хрипящие и свистящие согласные придают красочность изображению. Поэт неистощимо богат на убийственные детали, на убойные краски. *«Дед мой был / мастак по убою, / Ширококостный, / Ладный мужик»*.

А внук мастак по изображению всяческих казней. Та, в которой забивается бык, написана фламандской кистью, но и с упоением, какого не знали европейские художники. Эта казнь по страсти и беспощадности походит на другую, где богатый мужик рушит топором иконы. И там и здесь один ухарский взвизг *«И-эх! силушка, силка!!!»* И хотя мужик себе на уме:

*«Иконы всегда способно завести»*, и хотя он всерьез обижен на Бога, допустившего колхозы, протест его – не против Бога и не против советской власти, а против абсурда, громоздящегося в виде того и другого. Происходит взрыв, аффект, с которым не способен совладать душевный человек. И это не *«упоеение в бою»*. А упоение убийством беззащитной жертвы. Безудержность такой казни дана в *«Соляном бунте»*, когда казаки прочаюют взбунтовавшихся киргизов.

Позволю себе длинную цитату; веселый васильевский ужас отпечатался здесь очень рельефно, явив себя в человеческом материале. Казак

*Федька Пальй  
Видит: орёт тряпье –  
Старуха у таратаек, –  
Слез с коня  
И не спеша пошел на неё,  
Весело пальцем к себе маня:  
– Байбача, отур,  
Встречай-ка нас  
Да не бойся, старая!.. –  
Подошел – и  
Саблей её весело  
По скулам – раз!  
Выкупались скулы  
В чёрной крови...  
Старуха, пятясь, пошла, дрожа  
Развороченной,  
Мясистой губой.  
А Федька брови поднял: – Што жа,  
Байбача, што жа с тобой?.. –  
И вдруг завизжал –  
И ну её, ну  
Клинком целовать  
Во всю длину.  
Выкатился глаз  
Старушечий, грозен,  
Будто бы вспомнивший  
Вдруг о чём,  
И долго в тусклом,  
Смертном морозе  
Федькино лицо  
Танцевало в нём.  
Рядом со знатью,*

*От злобы косые,  
Повисшие на  
Саблях косых,  
Рубили  
Сирые и босые  
Трижды сирых  
И трижды босых.*

Так на идейном, заряженном классовым сознанием всплеске, кончается эта жуткая сцена.

Криминалисты замечают, что беззащитность жертвы может разбудить в убийце садиста. Злоба бывает столь безудержна, что убийца наносит и наносит удары уже по бездыханному телу. Его объектом, как мы видим, могут быть и человек, и животное, и святая икона.

Ярость оборачивается полным безразличием к миру и даже бесчувствием, живая материя приравнивается к неживой. *«Бьют пулеметы на базаре / По пестрым бабам и горшкам»*. Что человек, что горшок – без разницы: все прах и глина. Это из стихотворения *«Лагерь»*. Эпизод гражданской войны. Сработано пером спокойным, профессионально холодным. Привычные будни бойни, ее проза. Все в одной куче – *«И рыхлое мясо арбуза / И кровь на рваном рукаве»*. Будничная жизнь, будничная смерть: *«И двух в пальто в овраг соседний / Конвой расстреливать ведёт»* – финал стихотворения.

Все так привычно, так обыкновенно, что зевать хочется. И эта безучастность, выворачивающая скулы, не менее страшна, чем упоение казнью. А по сути, тут две стороны одной плоскости, того усеченного взгляда не отличающего жизни от смерти.

Извечная тяга России к Востоку простирается по плоскости. Будда потому так неотмирно спокоен, что свидетельствует: жизнь есть смерть. Это, правда, слова Льва Толстого, на философию которого повлиял буддизм. Россия, не наставленная в христианской вере, подвержена восточным и другим

верованиям. То, что мы скифы, стало очевидно Блоку два месяца спустя после Октябрьской революции.

Но – кто мы сегодня?..

В «Соляном бунте» следующая за изображением побоища глава посвящена гульбищу. И являет картину такого же безудержного погружения в стихию. Побоище и гульбище стоят так близко, так взаимопроникновенно, что разница между ними формальная. Сближению помогают и взятые в скобки воспоминания о кровавой расправе. Они вплетены в контекст праздника и только поддают лиха «веселому веселью».

Под дробот и стукоток бешеной пляски («ноги в пол стучат, как копыта») вспоминается: *«А казаки-мужья / В походе том / Азиаткам / Задрав подол, / Их отпробовали / И с хохотом / Между ног / Забивали кол».*

Плясовая интонация стиха, оперенная дактилической игривой рифмой «в походе том – с хохотом», выносит это веселое злодейство за пределы моральной оценки – по ту сторону добра и зла. Сближение, а точнее, слияние радости и ярости – частый поэтический прием, яркая краска на его палитре.

Эта картина напоминает победное пиршество монгольских ханов, которое они устраивали на бревенчатом помосте, положив под него связанные тела пленников. Стон и хохот растворены в одном воздухе. Пиршество и смертоубийство действительно соединены. Единый процесс жизненного цикла. Жестокий обычай кочевников, еще не познавших милосердного Бога.

Этот художественный прием – главная пружина васильевской поэтики – являет состояние души, переполненной полярными чувствами, спившимися, слипшимися в неслиянно-неразрывное «весело, люто».

Вот один из многочисленных эскизов такой души: *«И харя с красными белками / Цыганская от злобы ржёт».* Весело-люто в природе человеческих отношений, не разрыхленных христианской этикой. Русский язык допускает ласковость грубых выражений,

Портрет батьки атамана Фомы схож с богатырем Евстигнеем и с другими народными героями. Все они складываются в портрет русского бунта – «бессмысленного и беспощадного» (Пушкин). У них одно – выразительное и свирепое – лицо. Все они пьют чайными чашками кумыс, самогон или водку. Каждому из них привычно орудовать штыком или руками в наваленной на столе снеди. И все однозначно порешают врага в его логове: *«Ворвавшийся выборжец / Всем телом, / С размаху / Загнал ему (то есть врагу. – А. З.) в заклокотавшее горло / Штык»*. Замахиваются и повыше: *«Саблею небо руби сплеча, / Чтобы заря потекла по ней»*. А если надо выжечь аул, то непременно «вырвать ему горячие ноздри...». Со вкусом они исполняют свой долг, со вкусом и завораживающим мастерством повествует о них поэт.

Васильев писал свирепой кистью не только батальные полотна, но и пронзительную лирику. Любовь и боль в ней не разведены. А от иного пейзажа пахнет вдруг таким безлюдьем, таким безысходным холодом... *«Камыш высок, осока высока, / Тоской набух тугой сосок волчицы, / Слетает птица с дикого песка, / Крылами бьет и на волну садится»*.

Дымящиеся тучи идут на убой, цветы с глазами кровавыми по-псиному разинули рты, река «голову каждой своей волны» мозжит «о ребра скал», художник Христолюбов, пишущий на холсте не то, что хочет, – в помрачении, а может быть, вдохновении, – бьет кистью по холсту, по рылу ведьмы.

Скорее всего этот творческий экстаз есть помраченное вдохновение, когда демоническая сила диктует свою волю, свою поэтику. *«Белоперого снегу повсюду / Столь навалено, / Будто целую ночь били красноклювых гусей»*. Красота у него чревата ужасом или предчувствием ужаса.

Школа, которую получил поэт в начале жизни, не имела противоядия от ужасного. Такой школой могут быть только христианские установления, вера в то, что скорбь мира преодолима, уже Преодолена. Свирепость васильевского темперамента как-то связана с неустроенностью мира. Но только поэт не скорбит по этому поводу, он разъяряется. Всеобщей

неустроенности он ничего не может противопоставить, кроме рыка, ослепительной ненависти и шитого белыми нитками «научного» агитпропа.

Он был, наверное, бесстрашным человеком. Но это бесстрашие безумия, не знающее глубины пропасти, в которую прыгает. Не имея благоговения перед жизнью, невозможно по-настоящему ценить и знать жизнь. Невозможно поверить в реальность смерти, в окончательную реальность небытия, откуда нет выхода. Все условно в этом отчаянном незнании: возвышенное и низменное, отвратительное и прекрасное, доброе и злое, золото перемешано с дерьмом, плевки с жемчугами. Их тождество не выходит за рамки эстетической оценки, ибо иного критерия ценности не существует.

В привязанности к безумному в мире, в постоянном ощущении, что «на смертях замешенный воздух густ» видна скорбная несвобода бунтующего человека. Боязнь, да и бессилие вырваться на ту высоту, откуда Творец мира сего видел мир прекрасным...

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх... боящийся несовершен в любви» – эти характеристики к Васильеву не подходят, особенно последняя. То, что несовершен, это точно. Чего он не скрывает, понимая любовь уж очень «по-азиатски», выбирая, как шах в гареме, себе очередную утешительницу. Он не раскаивается в измене возлюбленной, но, признаваясь в этом, великодушно успокаивает: *«Ничего, дорогая! Я баловал с этой, / Ни на каплю, нисколько ее не любя».*

В пору тотальной коллективизации, когда, по слухам, большевики намеревались обобществить даже жен, поэт говорит о возлюбленной как о единственной оставшейся у него собственности. Рискованный выпад из общего идейного ложа. *«Спи, я рядом, / Собственная, живая, / Даже во сне мне не прекословь».*

Там, где обретается полная свобода, то есть в любви, поэт требует непрекословного подчинения. Любовь понимается не как жертва собою, а как власть над другим. Властность отно-

шений, неравенство полов чувствуется во всей васильевской лирике. Даже там, где он спокойно и щедро живописует – и в честь Натальи, и в честь Анастасии, и в честь Елены, и в честь других избранниц.

Но кто же ему мог подать пример жертвенной любви? Семья, недалеко ушедшая от нравов Домостроя?.. Христос, задвинутый в темный угол, куда Васильев без содрогания смотреть не мог? Пушкин, Есенин, которых он боготворил?

Пушкин, в то время препарированный Щеголевым, являл образец ветреного поведения, дозволенного любимцу муз... Советское пушкиноведение, повязанное догмой, уже набирало обороты и лепило образ поэта по своему подобию.

Есенин?..

Влияние Есенина было основополагающим – и на поэзию, и на жизнь. *«Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха, – / Всё равно любимая отцветёт черемуха»* – этот есенинский наказ он осуществлял с горячностью алчного ученика: хоть час, да мой. А в озорствах и бесчинствах, пожалуй, превзошел учителя.

Есенин в пьяном помрачении мог раскрыть пивной кружкой голову своему верному другу – повод был ничтожный. И процедить сквозь зубы, нисколько не беспокоясь за его жизнь (друга, залитого кровью, увезли в больницу): «Меньше будет одной собакой».

Звероподобие в человеческих отношениях оказывается нормой там, где не знают нравственного закона. Павел Васильев был тоже скор на расправу: на голову своего однофамильца, пишущего стихи, он опрокинул однажды сковородку с яичницей – дабы не позорил фамилию или заменил на другую.

Вот случай, который мне рассказал его современник, тогда вхожий в литературные круги. Группа писателей из Москвы, среди них Васильев, приехала в какую-то южную республику. В ресторане под открытым небом их обслуживала красивая официантка. Все были пьяны, но отрезвели мгновенно, когда Васильев потребовал от писательского начальства эту жен-

щину к себе на ночь, угрожая, что, если желание его не будет уважено, использует у всех на глазах козу. В серьезности его намерений никто не сомневался. Коза, привязанная к колышку, паслась неподалеку. Как поступило писательское начальство, не знаю, но, когда в Москве на собрании стали его за эту выходку прорабатывать, Васильев беспечно отмахнулся и кому-то сказал: «А чем коза хуже твоей жены?»

Сам Горький не выдержал и выступил в печати против «веселых» подвигов Васильева со товарищи. Поэт ответил ему покаянным письмом. Но потом снова сорвался, надебоширил и был исключен из Союза писателей.

Судьба Есенина не давала ему покоя. От есенинских интонаций он не был свободен и в зрелом возрасте. Вообще печальное влияние Есенина на так называемых поэтов из народа – от сохи или от станка – докатилось до наших дней. Принятые в Союз писателей, они пропивали в ЦДЛе свои ущемленные дарования, хулиганя и плача есенинской слезой. Влияние «князя песни русский», так величает его Васильев, пагубно действовало только на почву, не обработанную настоящей культурой.

Васильев сравнивает талант Есенина с богатырской силой, которая, *«плечи немислимые топыря... вымахивает через плетень, / Неся кулаков тудовые гири»*. Это сравнение больше подходит самому Васильеву. Есенин обладал «небольшой, но хватистой силою», как он о себе написал.

Авторитет силы – непререкаем. Сила всегда права, чего бы ни вытворяла. В восторге перед ее осязаемым весом и видом есть что-то наивно-детское, простонародное. Восхищение, смешанное с ужасом, какое бывает у человека, не знающего, что сила Духа сильнее силы мяса, что страшного Голиафа победил имеющий веру юный Давид.

Смешение понятий и чувств синхронно отражается в языке. Кому не приходилось слышать странный возглас: «Ужасно красиво!» Однако ничего странного и алогичного нет в этом словосочетании. Красота бывает ужасной для того, кто лишен духовного зрения.

Но вернемся к васильевскому героизму, вымахивающему через плетень. Это о нем пословица: силу солома ломит. Есенина повалила, по мнению автора, солома – лицемерное бессилие, которым он был окружен в лице мнимых друзей. По этой логике, «друзья» его захвалили, споили, а потом убили. По этой логике, повсюду выискивающей внешнего врага, сила сама себя сломить не может.

А между тем в ней, самодовлеющей в абсолюте, зреет самоубийственная тяжесть. Как в яблонево́й ветке, отягощенной плодами, под которую вовремя не поставлена опора. «Бей в эту подлую, падлую мреть...» – срывается Васильев на крик, видя перед собой маячащую солому там, где Есенин увидел свое отражение. Он бросил тростью в зеркало и на мгновение пришел в себя, понял, что призрак «Черного человека», померещившийся ему, – это он сам.

А Васильев стал звать на помощь (площадной, придающий храбрости крик), да не кого-нибудь, а революцию, очищающую от врагов: «бей, не промахиваясь, по ним!..» Безотчетное есенинское «Бейте в жизнь без промаха» у Васильева развернулось прицельно по врагам революции.

Блок заметил в юном Есенине характерное движение: схватить, прокусить. Если бы судьба свела его с Васильевым, он бы заметил движение куда опаснее: удушить, заколоть, загрызть. Эта разница отчетливо заметна в любви, в проявлениях нежности. У Есенина читаем: *«Руки милой – пара лебедей / В золоте волос моих ныряют»*. У Васильева: *«И когда я душил ее руки, как шеи двух больших лебедей...»*

Он душил не руки, а настоящую любовь, по которой томился с юности, которая зиждется не на силе, а на доверии, о которой сказано: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1Кор. 13.4).

В больших лирических стихотворениях, похожих на исповедания, часто присутствует гражданский мотив. Глубоко интимное неотделимо от проблем, которыми живет *страна*.

Разумеется, тех, что освещены в прессе и дозволены к обсуждению. Например, голод на Украине, унесший миллионы человеческих жизней, обсуждению не подлежал ни в каких произведениях – ни в лирических, ни в гражданских.

Не исключено, что до Васильева доходили слухи, но он затыкал уши, «убегая от сомнений прочь». Здоровая красота, дородность и доступность возлюбленной («Стихи в честь Натальи») могла произрасти только в здоровом обществе, в счастливой стране, сколоченной по пословице: в здоровом теле – здоровый дух. Оттого рядом с пышнотелой русской красавицей в ситцевом сарафане выступают колхозные трактористы – богатыри, как на подбор: «мыты, бриты, кепки набекрень». Даже в разговор с матерью – проникновенно-сердечный – втесалось идеологическое нечто: *«Есть чёрное знамя и красное знамя... И красное знамя мы несём»*. Ушибленность идеологией сказывается на человека, на всей его деятельности в так называемый посттравматический период, который может начаться с родовой травмы. Но при отсутствии нравственного закона на что-то же надо опираться...

Наши беды, которые мы сейчас расхлебываем, принято валить на революцию. Мол, с нее начался отсчет бесчеловечности и произвола. И то и другое в избытке пребывало в русской душе и во времена соляных бунтов, описанных Васильевым, и еще раньше. Пребывало издавна, но только в локальных дозах, как у васильевских, осоловевших от крови казаков или какой-нибудь леди Макбет Мценского уезда.

Революция, выбив нравственную опору, давала добро на осуществление зверств широкомасштабно. Ленины-Сталины высыпали, как грибы после дождя – любых размеров, на любой вкус. Ведь многим пришлось по вкусу «великолепная хирургия» (слова Юрия Андреевича из романа Пастернака «Доктор Живаго»).

Русская интеллигенция, не услышавшая Нагорную проповедь, присягнула силе, видя в ней единственное спасение от перманентной загадочной расслабленности, от всеобщего

бардака. Цветаева так и сказала Маяковскому в Париже – пришла на его вечер, – «там, у вас сила». И уточнила: «Но правда – здесь».

Русская интеллигенция слилась с народом в экстазе идолопоклонства. Сила, несущая «кулаков пудовые гири», и была тем идолом, обольстившим наивно-детское и изощренно-культурное мировосприятие.

У Васильева она пугает и очаровывает одновременно. Чары, магическое притяжение – вот что притягивает в харе с красными белками. Наивных интеллигентов всегда пленяла магия силы, исходящая и от уголовников всех мастей – от лагерных блатных – («социально близкие») до сегодняшних нуворишей.

Но сила духа – это тоже действие, которое в земных пределах может иметь видимую величину. Вспомним снова юного Давида. Он был и силен и ловок, а не только богопослушен. Будучи пастухом, он расправлялся с дикими зверями, нападавшими на стадо. Сила и вера действуют только в одной последовательности: где вера, там и сила. И никак не наоборот.

Но есть природные ресурсы, и они дремлют в каждом народе, пока не бывают востребованы Святым Духом или выпущены, как из сосуда Пандоры. (Зевс послал к людям богиню Пандору, как «прекрасное зло».) В поэзии Васильева мы видим, что эти ресурсы колоссальны, их потенциальная мощь – непредсказуема и что они уже выпущены на поверхность (Достоевский называл их «трихнинami»).

Когда-то я видел извержение Толбачека на Камчатке... В отличие от вулкана, за которым мы наблюдали на расстоянии, поэзия такого же накала допускает приблизиться вплотную к огнедышащему кратеру и заглянуть в него. Заглянуть и увидеть народную душу – веселую и ужасную одновременно; ужасно-веселую – без иноземных примесей и рефлексий.

В семнадцатом году Марцинковского, известного проповедника слова Божьего, поразила эта отчаянная веселость. Какой-то солдат, бахвалясь, громко рассказывал о своих

подвигах – убийствах и грабежах. «Разве Христос в Евангелии учил так делать?» – спросил он солдата. Тот ответил: «А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали... А что в ем писано, того не знаем». И заключает проповедник: «Поистине, гибель народу без слова Божия».

Его арестовали в тридцать седьмом году. Поэту только-только исполнилось двадцать семь лет. Эдакую буйность могли ли не арестовать, когда выкорчевывали все подчистую...

Ему попался честный следователь, – были, оказывается, и такие – Илья Игнатьевич Илюшенко. Правда, и поплатившийся за свою честность. Васильева он вызывал на допрос, сажал за отдельный стол, вручал карандаш, бумагу и говорил: «Пишите стихи, прозу, что хотите. У вас свое дело, у меня – свое». И будто бы остался после этих «допросов» чемодан рукописей... Так это или нет, кто знает... Кто может сейчас проверить, как он погиб.

Но если то, что я слышал, легенда, то удивительно подходящая к его характеру. Будто бы его расстреляли при попытке к бегству. Накануне предупредили: завтра вызовут на допрос, но поведут в другое место, туда, откуда по стене спускается лестница. А уж внизу верные люди будут ждать с машиной. Как бы предупредили о побеге. Он – поверил. И на завтра, когда его привели на это место, он весело спросил: «Ну, где тут ваша лестница?» Повернулся, и конвойный выстрелил ему в затылок.

Он рухнул, как та плодоносная ветка, не имеющая опоры. И может быть, на ощупь, шаря вокруг себя в темноте, он все-таки ее искал. В послании к друзьям из тюрьмы – едва ли не последнее стихотворение – он признается: *«Верится, верится, как собаке, а во что – не поймёшь...»*

Владимир Николаев

## Тайны придворной летописи\*

*Уникальное издание*

### *Партийный вождь и партийные писатели*

Пожалуй, надо вспомнить, что до Софронова главным редактором журнала был известный в то время поэт и литературный функционер Алексей Сурков, он провел на этом посту восемь лет, но заметного следа не оставил. На работу в редакцию являлся редко, в дела особо не вникал, вел себя там, как генерал на свадьбе.

Такие главные редактора были тогда в порядке вещей. Так, например, прозаик Вадим Кожевников, один из самых активных авторов «Огонька», в качестве главного редактора числился в журнале «Знамя» с сорок девятого по восемьдесят четвертый год. Он навещался в свою редакцию раз-два в месяц, не чаще.

У таких главных редакторов массу времени отнимала так называемая литературно-общественная деятельность, они занимали разные посты в Союзе писателей, являлись всякого рода депутатами, членами разных организаций и комитетов, много времени проводили за границей, без конца бегали за получением инструкций в ЦК партии...

---

\* Публикуется впервые. Продолжение. Начало в № 229. – *Ред.*

Такого же рода деятелем был и Анатолий Софронов, но, в отличие от Суркова, в редакции появлялся гораздо чаще. Начало его работы в «Огоньке» совпало с началом хрущевского правления. Новый вождь с типично партийной наглостью и беспардонным невежеством вломился в литературу и искусство на правах полновластного хозяина.

Кстати, при ознакомлении с его мемуарами становится ясно, что он ничего не читал из литературы, в его тексте нет и намека на то, что существуют проза и поэзия! Эта его безграмотность и дурная энергия позволили сплотиться вокруг него большой волчьей стае спекулянтов от литературы и искусства, гордо именовавших себя партийными писателями и художниками, что очень льстило Хрущеву.

По образцу и подобию сталинско-ждановских проработок они под руководством Хрущева развернули травлю тех, кто не желал смириться с партийным диктатом. С этой травли и началась трагедия так называемых шестидесятников, которую потом окончательно подытожил провал горбачевской перестройки.

С воцарением Хрущева они появились в годы, названные «оттепелью», и он же сам начал бороться с ними.

С поистине детской непосредственностью, с присущей ему неизбывной энергией Хрущев стал учить деятелей литературы и искусства кнутом и пряником. Страницы «Огонька» тех лет хранят любопытные свидетельства о встречах на подмосковных правительственных дачах и в Кремле партийных боссов с культурной элитой, фотографии в стиле придворной хроники и подобострастные тексты к ним.

При Хрущеве, как и при Сталине, традиционная раздача крупных чаевых – творческих государственных премий была богатым пряником, но и за кнутом дело не стало. Он и сам, как мог, хамил неугодным писателям и художникам, его партийная и литературная челядь от хозяина, разумеется, не отставала.

Один из самых крупных литературных скандалов был устроен по поводу Бориса Пастернака, самого талантливого

поэта той поры. Он чурался властей, был добровольным затворником, обладал чувством собственного достоинства. Это бесило партийное начальство, а талант его колол глаза бездарным прихлебателям от литературы.

Эти две силы и раздули скандал в связи с тем, что роман Пастернака «Доктор Живаго» был издан в Италии. За это поэт повергся самой настоящей травле. А после истории с романом последовала вторая серия скандала, который разразился у нас после присуждения поэту Нобелевской премии.

Три тогда самых влиятельных среди властей писателя, Шолохов, Фадеев и Симонов, много себе греха на душу взяли не только в случае с Пастернаком. Между прочим, все трое были активными авторами «Огонька». А вообще на страницы журнала в войну и сразу после нее пришло много авторов, «без лести преданных» власти: Н. Грибачев, А. Софронов, В. Кочетов, В. Кожевников, С. Бабаевский, А. Чаковский, А. Калинин, В. Закруткин, П. Павленко, Ц. Солодарь, А. Первенцев, М. Алексеев, Г. Марков, Ан. Иванов, Л. Соболев, А. Корнейчук, Н. Рыбак, С. Смирнов (поэт), П. Проскурин, С. Сартаков...

Да, их было, увы, немало, бездарных и настырных. Но в журнале хватало места и для писателей талантливых, не настолько ангажированных партией, как «писатели-автоматчики» (выражение принадлежит самому Хрущеву). Можно вспомнить: К. Чуковского, В. Катаева, В. Шкловского, В. Тендрякова, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, В. Солоухина, М. Пришвина, Ю. Нагибина, Ю. Трифонова, Ю. Казакова, С. Маршака, Л. Кассиля, Е. Носова, В. Астафьева, В. Быкова, П. Антокольского, И. Сельвинского, П. Нилина, В. Каверина, С. Антонова...

Едва ли кто из писателей с именем обходил «Огонек», так было всегда, в его редакцию приносили свои рукописи писатели самые разные, в других изданиях их пути не пересекались.

Любопытно, что журнал много лет воздерживался от того, что у нас было модно и называлось «литературной полемикой». Когда же при Хрущеве набрали силу литературные «автомат-

чки», они стали пробираться со своими провокациями и на страницы «Огонька», под гостеприимное крыло его главного редактора Софронова. Тем не менее журнал продолжал оставаться открытым для самых разных писателей. Думаю, Софронов понимал, что его нельзя превращать в заповедник чернотенной реакции и шовинизма, какими, например, стали в то время журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник».

Но в душе своей он был с ними.

### ***В отставку – не за решетку***

Во всех хрущевских экспериментах, во всех судорогах его кремлевского двора «Огонек», разумеется, принимал самое активное участие, во многом задавал тон. Так, журнал выдвинул лозунг: «Кукурузу – до Полярного круга!» и напечатал большую карту, где граница кукурузных полей начиналась на севере Карелии, шла через Архангельск, Усть-Илим и север сибирской тайги.

Кстати, в свое время журнал печатал похожие лозунги и карты в связи с пропагандой сталинских лесных полос через всю страну.

А сколько времени провел Хрущев в зарубежных поездках! И какой по этому поводу оглушительный шум устраивали наши средства массовой информации! Тут уж журнал с его иллюстрациями, не только черно-белыми, но и цветными, был несомненным лидером. Тогда же, как и в первые годы кольцовского «Огонька», в журнале возродилась придворная хроника, которую до того заменил собой один Сталин.

Лица из ближайшего окружения Хрущева замелькали на страницах журнала и его цветных вкладках. По месту расположения этих лиц на снимках, по частоте их появления на журнальных страницах можно было безошибочно судить об их весе и влиянии. Да, да, и по расположению на фотографиях: каждый сверчок знал свой шесток!

В то время в придворной хронике появилась и новая традиция – возвеличивать секретарей (так называемых, помощ-

ников) руководителей ЦК партии. Раньше, при Сталине, они не были публичными фигурами, а вот при Хрущеве вдруг обрели совершенно новый статус, стали всемогущими неофициальными хозяевами огромного центрального партийного аппарата.

Мало этого. Их стали выдвигать на высшие партийные должности, они со временем становились сами секретарями ЦК партии, а серенький канцелярский клерк Черненко вообще в вожди выбился!

При Хрущеве рамки придворной хроники в журнале заметно расширились. Под рубрикой «Интервью «Огонька» стали публиковаться беседы с партийными заместителями в республиках и областях. Они были, как правило, скучными, поскольку готовились в основном помощниками местных руководителей и походили на канцелярские справки и отчеты.

В то же время этот жанр поднимал вес журнала по всей стране и намного облегчал работу наших корреспондентов, бороздивших ее необъятные просторы.

Но самая главная (тайная!) пружина этих интервью с местными руководителями заключалась в другом: таким образом хитроумный Софронов устанавливал личные связи с ними – а это он делать умел!, и в результате его бесчисленные пьесы широко ставились по всей стране. В то время за них почему-то платили просто бешеные деньги. Правда, надо сказать, что Софронов, несмотря на это, скупердяем не был.

На исходе своего правления Хрущев, похоже, совсем потерял голову. Еще бы! Вокруг него было накурено столько фимиама! К своему семидесятилетию, весной шестьдесят четвертого года, он навесил себе четвертую золотую Звезду Героя. Во время торжественной церемонии прикрепил ее Хрущеву на грудь Брежнев, наверняка уже имевший виды на его кресло.

Вся придворная челядь тоже разгулялась во всю. Выше я упоминал о хрущевском помощнике Лебедеве, который вполне профессионально работал с фотоаппаратом. Так вот он незадолго до падения своего шефа устроил персональную

фотовыставку в залах Союза художников в Москве на Кузнецком мосту. На ней было представлено сто тридцать пять его работ, оформленных так тщательно и роскошно, как я не видел ни на одной фотовыставке, а повидал я их немало!

На открытие выставки собрался весь высший свет столицы, сам виновник торжества прибыл на западный манер со всей своей семьей.

Открывая церемонию, Сергей Михалков сказал, что у каждого писателя может быть один главный праздник – выход его собрания сочинений. С таким событием он поздравил и Лебедева.

На выставке доминировала хрущевская тема. Например, Хрущев у ленинского шалаша в Разливе, он же во время своих многочисленных зарубежных поездок и тому прочее, но были также хорошо выполненные портреты многих деятелей литературы и искусства.

Как бы ни был противоречив и непоследователен начатый Хрущевым процесс разоблачения культа Сталина, все равно процесс пошел! Свергнутый Хрущев не был арестован или просто физически уничтожен, потому что он сам, придя к власти, не расправился со своими поверженными противниками.

### ***Нет, это был не застой***

Сменивший Хрущева Брежнев остался в истории как лидер страны в период застоя. Но этот термин едва ли отражает суть той эпохи. Словарь русского языка Ожегова так толкует это понятие: «Остановка, задержка, неблагоприятная для развития, движения чего-нибудь». Задолго до Ожегова Даль дал такое определение: «Всякая продолжительная или вредная остановка в движении чего-либо».

Следовательно, за несколько десятилетий, от Даля до Ожегова, это слово сохранило один и тот же вполне определенный смысл.

Спрашивается, для какого же движения и развития застой оказался задержкой? Для социализма? Но социалистическая

идея к брежневским временам была у нас уже совсем дискредитирована, во всяком случае, на примере нашей собственной истории после Октября семнадцатого года.

Нет, это был не застой, а период загнивания, закономерно отмирания той системы, которая за полвека своего существования доказала только одно – свою античеловечность, она вчистую проиграла капитализму, своему главному антиподу.

Это был также период всевластия партийно-государственной номенклатуры. Ее создал и сделал основой несправедливого строя Сталин, но при нем она жила в страхе и не могла полностью наслаждаться своим привилегированным положением. При Хрущеве страх начал ослабевать, но его бесконечные эксперименты и перетряски сильно досаждали номенклатуре. А вот при Брежневе она наконец-то дорвалась до тех радостей, какие дает чиновникам только тоталитарная власть.

Созданный еще при Сталине новый эксплуататорский класс впервые вздохнул полной грудью и показал себя во всей красе, проявившейся прежде всего в коррупции, пьянстве, гульбе, разврате, охоте, рыбалке и других таких же грехах и шалостях, среди которых вскоре на первое место вышли зарубежные поездки – на народные денежки, разумеется.

Вслед за этим проснулся интерес к твердой валюте, и богатейшее государство стало расхищаться как никогда.

Ко всему этому стоит вспомнить, что Брежнев пришел к власти примерно так же, как пришел Михаил, первый из династии Романовых. Никто из близкого окружения не воспринимал Брежнева всерьез, никто не думал, что он надолго задержится в вождях. Все просто хотели наконец-то свободно вздохнуть, расслабиться и навестать упущенное за себя и за своих предшественников.

Что же касается живучести нового вождя, его приближенные ошиблись: он правил аж восемнадцать лет! Тем не менее, выбор их оказался верным, поскольку Брежнев по натуре своей был безудержным жизнелюбом, можно сказать, коммунистом-эпикурейцем.

Как и все его предшественники на этом посту, Брежнев ни образованием, ни воспитанием не блистал. Один из тех, кто писал ему речи, охарактеризовал мне его так: «От таких у нас в деревне спички прятали». Но при этом Брежнев, так же как Сталин и Хрущев, был гроссмейстером придворных партийных интриг. Тут полная аналогия с шахматами: далеко не каждый гроссмейстер дельный и приятный человек.

Когда Брежнев явно прикипел к своему трону, кремлевский двор приступил к своему привычному делу – начал усердно сооружать ему его собственный культ. В отличие от Сталина Брежнев и сам в долгу не оставался, все его правление прошло под звон бокалов и шумные тосты, раздавались награды и привилегии близким людям, коллективам, организациям, городам, областям, республикам. Он только успевал перемещаться с одного праздника на другой, а тут еще зарубежные поездки!..

Годы его правления были сущим праздником для огоньковской придворной хроники. Если знакомиться с ней внимательно, номер за номером, год за годом, то можно сделать немало любопытных открытий.

Вот фотография: генерал-майор Брежнев на параде Победы сорок пятого года, на груди у него шесть наград – орденов и медалей. К исходу его правления у него на журнальных фотографиях можно насчитать уже более семидесяти (!) наград. Пять золотых Звезд нацепил он на себя. Произвел себя в маршалы и наградил Орденом Победы.

Таких героев наша страна еще не знала: в мирное время получить столько боевых отличий! Кстати, по количеству таких побрякушек от Брежнева не намного отстал его зять, генерал-полковник Чурбанов, у которого было около пятидесяти орденов и медалей, в том числе боевых, хотя пороха он не нюхал.

Понятно, что и другие родные и близкие вождя тоже не дремали, вручение друг другу золотых геройских Звезд стало привычным кремлевским ритуалом.

Все эти церемонии запечатлены на журнальных страницах, на которых вслед за Брежневым выстраиваются пред-

ставители его придворной челяди. На цветных и черно-белых фотографиях они располагаются строго по чинам, у каждого свое место и своя же подхалимская улыбка.

Как они стелились перед ним! Не из-за любви и преклонения, а за то, что позволил им жить так роскошно и бездумно. А как местные партийные царьки одаривали его! Бриллианты, платина, золото, из рук в руки, все к вождю в дом, не как при Сталине – в музей.

Сталина в свое время сделали задним числом создателем Красной Армии и полководцем в гражданскую войну. Из-за него же извратили всю историю Великой Отечественной войны. Затем ее снова подправили под Хрущева, а после него – под Брежнева. У последнего на этот случай разыскали «Малую землю» под Новороссийском, где во время войны однажды был высажен десант из нескольких сот человек. Об этой воинской операции до прихода Брежнева к власти вообще не упоминали в силу ее незначительности, а вот при Брежневе вдруг вспомнили, что он имел к ней отношение.

Всего достиг и все постиг очередной кремлевский правитель. Но были еще не взятые вершины. Окружающие Брежнева холуи додумались до неслыханной наглости: сделали из своего хозяина и благодетеля великого русского писателя! Да, написали за него «Воспоминания» и торжественно приняли его, не умевшего ни писать, ни выступать с трибуны, в члены Союза писателей. И какая же вакханалия восторга была организована по этому поводу кремлевским двором! Шумели не меньше, чем после выхода в свет сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», ставшего на долгие годы советской Библией.

Мемуары Брежнева были написаны группой писателей и журналистов под руководством цековских пропагандистских заправил. Делалась это в страшной тайне, но скоро стало известно всем и каждому. Авторы и организаторы этой аферы были по-царски вознаграждены – за счет казны, разумеется, а сам новорожденный писатель с удовольствием принимал отовсюду поздравления и собирал гонорары в рублях и твер-

дой валюте, получив ко всему прочему и Ленинскую премию по литературе.

Подлинные авторы трехтомных «мемуаров» обрели тоже немало: были изданы собрания сочинений их собственных произведений (у кого было что издавать), их щедро одарили деньгами, дачами, квартирами, машинами, орденами, почетными званиями...

Но и этого оказалось мало! Мемуары обязан был изучать весь советский народ. Прозу вождя цитировали при всех случаях жизни, ото всех требовалось следовать его заветам при любых начинаниях и свершениях. На самом же деле назидательные и напыщенные воспоминания походили на плохую пародию на мемуарную прозу.

Изысканные кулины этой пропагандистской стряпни были поистине неистощимы на выдумки. Так, перед книжным изданием «Воспоминаний» они опубликовали их в журнале «Новый мир». Да, именно в том самом журнале, который олицетворял собой хоть какую-то оппозицию тупой официальной идеологии в литературе. Какова была дьявольская хитрость: лишней раз вождя приподняли и заодно журнал опозорили.

То же самое проделали и с «Огоньком», в нем широко печатались отрывки из монументального произведения, которое целиком просто в формат журнала не лезло. И не было в стране такого органа печати, который не откликнулся бы на «мемуары».

По ним было сделано несколько телесериалов, вокруг которых тоже был поднят несусветный пропагандистский шум. По воле Политбюро и ЦК партии вся страна, не отойдя еще от идиотизма сталинской эпохи, впала в брежневский идиотизм. Кремлевский двор ликовал, гулял и обогащался, а страна победившего социализма стремительно катилась в пропасть. Морально-нравственная основа нормального человеческого общества была уже уничтожена не только стараниями брежневского режима, но и всеми предшественниками вождя-писателя.

Оставалось доконать экономику богатейшей в мире державы, тут сделал все, что мог, наш военно-промышленный комплекс, загнавший страну до смерти в неудержимой гонке вооружений.

Правление Брежнева, как и хрущевское, отличалось многочисленными поездками по Советскому Союзу и другим странам. За границей он бывал окружен не столь плотным кольцом приближенных и мне удавалось наблюдать за ним вблизи, сопровождая его во время таких визитов в качестве корреспондента «Огонька».

Кстати, бывал я и в его цековском отсеке, где общался, конечно, не с ним, а с его помощниками. Там тоже, как и во время зарубежных поездок Брежнева, атмосфера не была гнетущей, казенной, ощущалось, что его челядь жила в свое удовольствие, изображая при этом трудовой энтузиазм.

Если Сталин упивался властью, как вампир, то Брежнев был ею приятно убаюкан, он жил в свое удовольствие и давал жить своему ближайшему окружению. Так, порядки во время его зарубежных поездок были либеральными, наши корреспонденты, сопровождавшие вождя, были предоставлены самим себе, что мне лично нравилось во время этих вояжей больше всего.

Атмосфера вокруг Брежнева, выступавшего в роли высокого гостя, была тоже вполне демократическая, даже его личная охрана позволяла себе расслабиться и выпить. Не было ни сталинского злобствования, ни хрущевской нервотрепки. Сам он обычно вел себя тихо и мирно, чем, по-моему, подкупал своих зарубежных партнеров, а то, что ему надо было произносить в официальной обстановке, писалось для него вполне квалифицированно.

Ближе к концу своего правления Брежневу стало труднее кататься по заграницам, здоровье было уже не то. Дошло до того, что его буквально втаскивали по трапу в самолет, иногда его приходилось водить всюду чуть ли не под руки.

В одну из его последних поездок, дело было в Бонне, вся его команда передвигалась по городу так: мотоциклисты, за

ними – Брежнев в своем лимузине, сразу за ней – машина скорой помощи, причем, огромных размеров, далее – все остальные.

То, что он и его престарелые коллеги так нагло и надолго задержались у власти, во многом способствовало крушению державы.

### *Тяжкий крест литературы*

Брежнев правил в два раза дольше, чем Хрущев, и огоньковская летопись его царствования оказалась намного больше хрущевской. Причем, в ее изобразительный ряд при Брежневе был вкраплен новый элемент – портретная живопись. Хрущев таким традиционным видом изобразительного искусства не увлекался, а вот Леонид Ильич был к нему неравнодушен. На его портретах, помещенных на цветных вкладках журнала, запечатлены работы Д. Налбандяна, И. Глазунова, А. Шилова, И. Пензова.

Их писали, когда вождь уже сильно недомогал, а льстить все равно надо было, вот и оказывались его изображения такими, о каких мало просто сказать «не получилось». Вышло нечто ужасное!

Впрочем, на цветных вкладках в старых подшивках журнала они до сих пор свидетельствуют о прожитом нами времени. В то же время они как бы мстят Брежневу за его грубое беспардонное вмешательство в изобразительное искусство, которое от него очень пострадало.

В отличие от Сталина и Хрущева Брежнев не лез в литературу и искусство, но зато за него этим вплотную занимались Суслов, кремлевский идеолог еще со сталинских времен, и шеф КГБ Андропов. Они быстро заморозили то, что при Хрущеве называли «оттепелью», но массовых репрессий, как раньше, при Сталине, уже не было. Андропов организовал гонения на диссидентов (стали известны десятки его жертв, пострадали, возможно, сотни). Сажал их в концлагеря, психушки, высылал за границу, он же бдительно присматривал за всей

творческой интеллигенцией, чем хорошо кормились органы госбезопасности, постоянно изображая себя при деле.

Официальные столпы советской литературы по-прежнему с гордостью пребывали в «автоматчиках», верных подручных партии. Так, Михаил Шолохов на II Съезде писателей Российской Федерации в шестьдесят пятом году завел речь о проблеме творческой интеллигенции и тут же объявил: «...Если, правда, такая проблема вообще существует... Если бы спросили мое личное мнение, то я сказал бы, что проблема интеллигенции решается у нас довольно-таки просто: будь верным солдатом ленинской партии – все равно, коммунисты или беспартийный...»

Глава Союза писателей Георгий Марков неустанно призывал «поднять литературу до высот нашей героической действительности». А патриарх официальной литературной критики Озеров в своем огромном труде «Коммунисты наших дней в жизни и литературе» декларировал:

«Мысль об очищении в огне революции человека, выросшего в мире собственничества, с большой силой прозвучала в романах Анатолия Иванова «Вечный зов» и Петра Проскурина «Судьба»... На какую нравственную высоту поднимаются люди, ставшие борцами, коллективистами!.. Быть нужным людям – для коммуниста это не абстрактное сочувствие «обездоленному брату», но активная борьба за преобразование обстоятельств, которые подавляли и унижали личность при эксплуататорском строе и которые должны обеспечить ее расцвет при социализме».

Упомянутые писатели Иванов и Проскурин активно печатались в «Огоньке», так же как и многие другие соотечественники. Но в то же время, как и раньше, широко публиковались в журнале и не столь ангажированные партией литераторы. Так, Валентин Катаев, словно обретший на старости лет второе дыхание, печатал в «Огоньке» свою удивительную мемуарную прозу.

В одном и том же номере журнала можно было встретить прозу Виктора Астафьева, лучшую русскую прозу в послево-

енные годы, и безнадежную графоманию писателя, партийного функционера Сартакова.

Как и в предыдущие годы украшали журнал своими произведениями Федор Абрамов, Евгений Носов, Юрий Нагибин, Вс. Иванов... Рядом с безликими и малограмотными критиками, воспевавшими Кожевникова и Кочетова, печатался в журнале блистательный публицист Юрий Карякин.

Так же обстояло в журнале дело и с поэзией. С одной стороны, можно сказать, светлой стороны – Эдуард Межелайтис, Леонид Мартынов, Евгений Евтушенко, Павел Антокольский, Вл. Соколов, с другой – такие истинные плоды официальной ветви советской литературы, как Шестинский, Исаев, Сорокин и многие другие рифмоплеты.

В так называемый застойный период литература марковых и кочетовых обрела своего нового лидера в лице Юрия Бондарева, романы которого обязательно публиковались в «Огоньке», причем, начинал он сразу после войны неплохо, как говорится, подавал надежды.

Но, уже с романа «Берег», он с каждым своим новым произведением проваливался все глубже и глубже в трясины графомании, в то же время официальная критика поднимала его все выше и выше – угодил властям своей верноподданностью.

Как-то в восемьдесят первом году я спросил его, не получает ли он от читателей критические замечания на свои романы. Бондарев был не то что удивлен, услышав такой вопрос, он был ошеломлен, буквально потерял дар речи! Какие у него, живого классика, могли быть недостатки?! К тому времени он стал не только известным писателем, но и функционером в нашем творческом союзе.

Так же безудержно прославлялся в то время официальной критикой и прозаик Ан. Иванов. Как-то в семидесятом году отдел литературы журнала сдал в набор его повесть «Жизнь на грешной земле». Я прочитал эту рукопись, рассчитанную на несколько номеров, и загрустил, так это было далеко от литературы. Автор преуспел в создании псевдо-

народной беллетристики, густо замешанной на революционной демагогии.

Я попытался отговорить Софронова от публикации повести, но только напрасно потерял время. Главный редактор свято следовал принципу «я тебе, ты мне», по которому проходило перекрестное печатание друг друга. Иванов был главным редактором журнала «Молодая гвардия», и Софронов печатал у него свои огромные поэмы, каждая в несколько тысяч строк!

Точно так же проникали на страницы журнала «нужные люди». Например, творил в то время такой очень плодовитый прозаик, как Сизов, бывший комсомольский и партийный работник. Каким-то образом он стал заместителем председателя Госкино и одновременно директором студии «Мосфильм», то есть Софронов мог у него перевоплощать свои произведения в фильмы, а Сизов печатал свои у него в «Огоньке». При таком деляческом подходе к литературе дело доходило уже просто до издевательства над ней.

Среди многих сизовых на первое место вышел Цвигун, один из самых близких к Брежневу людей, заместитель главы КГБ Андропова. Брежнев намеренно посадил своего дружка под главного чекиста. Цвигун, не отходя от своего служебного стола, сумел накатать несколько романов и киносценариев многосерийных художественных фильмов. В «Огоньке» он напечатал свой «документальный роман» «Ураган» – в двадцати четырех журнальных номерах подряд!

Бедная советская литература!

### ***Цековские нравы***

В так называемый застойный период в «Огоньке» было немало курьезов, вот история одного из них.

С самого начала своего существования журнал немало писал о науке. Еще в двадцатые годы в нем можно было прочитать о том, что стало занимать всех уже в наше время: о телепатии, спиритизме, астрологии и тому прочему.

В начале шестидесятых годов я познакомился с несколькими входившими тогда в моду экстрасенсами. К ним, например, относились супруги Кирлианы, рентгенологи по профессии. Они с помощью изобретенного ими аппарата – нечто вроде телевизора – наглядно показали, что так называемые, биоволны существуют на самом деле. Я помог им издать брошюру об их открытии в издательстве «Знание», они сразу стали известны во всем мире, особенно в США, там о них много писали. У нас же я организовал о Кирлианах большой очерк в журнале, причем, с цветной вкладкой, которая убедительно иллюстрировала их открытие.

Когда в Москве появилась широко известная до сих пор Джуна Давиташвили, мы с ней познакомились и подружились. У меня дома уже более двадцати лет висит картина – подарок мне от нее – Джуна занимается живописью, пишет стихи и песни. В столице она быстро стала очень популярна, о ней всерьез заговорили и зарубежом.

И вот, когда она была уже в зените своей славы, мы дали о ней в журнале большой очерк. Это был отнюдь не панегирик, а очень сдержанный, но подробный рассказ о том, чем она занимается.

При этом мы ставили только один вопрос: необходимо этот феномен исследовать со всей научной скрупулезностью и только после этого делать какие-то выводы, а для такого исследования необходимо создать хотя бы самые элементарные лабораторные условия, в чем руководство нашей официальной науки ей упорно отказывало.

Итак, в очередной четверг, как было строго положено по производственному графику, я подписал на выпуск в свет тот самый номер «Огонька», в котором был очерк о Джуне. В типографии начали печатать тираж журнала – на это уходило обычно четыре дня.

И вот совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба, в пятницу вечером, мне позвонил домой заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК партии Севрук. С та-

кими высокими чинами я через домашний телефон никогда не общался, значит, случилось что-то чрезвычайное.

Так оно и оказалось. К тому времени у Севрука, как и у меня, уже был на руках номер журнала – в пятницу утром ЦК получал первые номера с типографской машины.

Он спросил у меня, сколько уже успели их отпечатать. Я ответил, что должны были бы отпечатать примерно тысяч шестьсот экземпляров. Тогда он распорядился: «Звоните от моего имени в типографию, пусть немедленно прекратят печатать тираж, а то, что уже отпечатано, надо немедленно сжечь! Вам надлежит собрать редакционный коллектив и за субботу подготовить новый номер журнала». Софронов в то время был в больнице.

Это было неслыханно! В подробности Севрук не вникал, но сказал, что весь скандал разгорелся из-за очерка о Джуне. Подобного решения по журналу – сжечь уже готовый тираж! не было ни разу за всю его историю.

Я пытался доказать ему, что все это обойдется в миллионы рублей убытка, к тому же читатели не получают в срок очередной номер журнала, чего тоже на моей памяти не бывало. Но Севрук был неумолим.

Мне было ясно, что сам он так распорядиться не мог, не тот уровень, в этом случае возможны были только два источника: Брежнев или Сулов. Но Брежневу и кое-кому еще из его окружения Джуна уже оказывала помощь, облегчала жизнь ослабевшим партийным старцам, значит, это дело рук Сулова.

Но по неписанному закону ЦК партии Севрук никак не мог сослаться на него. Тайна, секретность, святой обет молчания царили в высшем партийном аппарате так же, как в знаменитой американской мафии.

После такого разговора с Севруком звоню Фельдману, директору издательства «Правда», которого хорошо знаю уже немало лет. Блестящий полиграфист, он, можно сказать, жил в этой типографии еще с тридцатых годов. Он уже в курсе дела и собирается исполнять приказание из ЦК. Тираж печатать прекратили, собираются жечь напечатанное.

Я предпринял отчаянную попытку отговорить его от уничтожения уже напечатанной части тиража журнала. Сказал ему, что он это сделать всегда успеет и пообещал добиться отмены этого решения. Мне уже повезло, что мой главный был в больнице, уверен, что он не посмел бы ослушаться Севрука (вернее, Сулова!).

Фельдман был изумлен моим заявлением о том, что я буду добиваться справедливости, он не мог понять, как это я не желаю подчиняться указанию из ЦК партии! Он был старым верным служакой и в то же время ему, конечно же, не хотелось жечь тираж.

Я упросил его не делать этого хотя бы часа два. Думаю, мне удалось это только за счет наших давних добрых личных отношений.

Итак, я начал отчаянно бороться за журнал и за самого себя. Если приказ ЦК будет исполнен, то, значит, меня, как минимум выгонят с работы, причем, с большим скандалом. Позвонил Севруку, сказал ему, что тираж печатать прекратили, но жечь уже напечатанное пока не будут. Изумлению и возмущению Севрука не было предела! А я добавил, что попробую, добиться отмены этого распоряжения.

«Да вы знаете, от кого оно исходит?! – закричал Севрук. – Да вы знаете, что несколько минут назад в Калининe уже выгрузили из поезда Москва – Ленинград предназначенную туда часть тиража?!»

Я ему ответил, что вот привезут ее обратно в Москву, тогда и можно будет все вместе сжечь. Еще я лишний раз заверил его, что попробую добиться отмены этого распоряжения.

Тут же я позвонил Джуле. Слава Богу, застал ее дома. Рассказал ей, что происходит. Она дала мне два сугубо личных телефона: Епишева и Байбакова. Первый был тогда начальником Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, а второй – заместителем Председателя Совета Министров СССР и Председателем Госплана СССР.

Но дело было не только в их важных постах. Епишев был близким другом и собутыльником Брежнева, одним из самых влиятельных при нем людей. Он очень жаловал Джуну. Байбаков всегда проявлял интерес ко всему новому, неожиданно в науке, заинтересовался и Джуной, они подружились.

В тот вечер, вернее, в ту ночь, мне везло: я дозвонился сразу до того и другого. Вот примерный разговор с Епишевым после того, как я изложил ему суть дела:

– Кто вам спустил это распоряжение?

– Севрук из отдела пропаганды.

– А кто он такой?

– Заместитель заведующего отделом.

– Владимир Дмитриевич! Вы по своему положению гораздо выше Севрука.

– Я так не считаю.

– Напрасно! Если он еще раз позвонит вам с такими глупостями, просто пошлите его... (далее следовала нецензурная брань).

– Я не смогу это сделать.

– Ладно, не волнуйтесь. Сегодня – пятница, в понедельник с утра все уладим.

Пришлось мне объяснять ему, что такое тираж, остановка работы всей типографии и тому прочее. Он понял, тяжело вздохнул и сказал:

– Ну, вот, вместо отдыха придется вашим делом заниматься. Кому вы еще собираетесь звонить?

– Байбакову.

– Правильно! Я и сам сейчас ему позвоню.

Состоялся у меня разговор и с Байбаковым, только без генеральского мата, он тоже все понял и сказал, что немедленно начинает действовать. Как и Епишев, просил меня держать его в курсе всех событий.

После этих переговоров я позвонил Севруку. Не ссылаясь на имена, я сообщил ему, что говорил с очень высокими и ответственными людьми и они обещали уладить это дело. Не знаю, какими словами можно передать изумление Севрука.

С его точки зрения, я вел себя как сумасшедший: столько времени отказываюсь выполнять указание ЦК!

Вся та ночь с пятницы на субботу прошла у меня без сна у раскаленного телефонного аппарата. То Фельдман звонит и объявляет, что он не может больше не подчиняться решению ЦК, то звонит Севрук и уже колотится в истерике, то я снова звоню Епишеву и Байбакову... До сих пор удивляюсь, как меня в ту ночь не хватил удар.

Утром мне позвонил – в который уже раз! – Епишев:

– Успокойтесь, я же говорил вам, что все будет в порядке. Звоните в типографию и скажите, чтобы продолжали печатать тираж журнала. И еще у меня будет к вам самая настоятельная просьба: если кто-нибудь попробует вас ругать или наказывать за все, что случилось, позвоните тут же ко мне, обязательно позвоните!

Я от души поблагодарил его и отзвонил Севруку и в издательство. Везде уже все знали, тираж сжечь не успели и печатали его дальше, а ленинградскую часть тиража снова загрузили в поезд и повезли в город на Неве. Разумеется, я не сказал Севруку, с кем всю ночь имел дело, а он, старая цековская лиса, не посмел меня спрашивать об этом.

Дня через два Севрук вызвал меня к себе в ЦК, там уже был заместитель начальника Главлита – всей нашей цензуры Солодин. Севрук стал нас отчитывать за то, что мы пропустили в печать очерк о Джуне.

Солодин повел себя очень ловко: достал длинный список запрещенных к печати тем, «парапсихологии» и «экстрасенсов» в нем не было. Мало этого, он рассказал Севруку, что его дочь со школьных лет страдала от астмы, ей не смогли помочь ни у нас, ни за границей. Только коллеги Джуны из Тбилиси смогли вылечить ее. Она не могла ни учиться, ни работать, а теперь закончила институт, вышла замуж, родила, работает...

Об этой встрече с Севруком я не мог не сообщить Епишеву, он выслушал меня и сказал, что больше ко мне с такими глупостями никто и близко не подойдет. Все это

происходило накануне майских праздников, и вот в конце предпраздничного дня в редакции зазвонил правительственный телефон – «вертушка». К тому времени почти все уже разбежались по домам. Секретарша наша сняла трубку и услышала:

– Это – Севрук. Позовите Николаева.

– Его нет, он в типографии, – на всякий случай соврала она, зная, что я давно уже покинул редакцию.

– Позовите кого-нибудь из членов редколлегии.

Как ни странно, но один такой чудак нашелся. Севрук торжественно заявил ему:

– Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и поздравления Софронову, Николаеву, всему коллективу с первомайскими праздниками, здоровья вам и успехов!

Оказалось, что скандал затеял Суслов, самый главный мракобес за всю историю советской власти. Когда Брежневу доложили о случившемся, он прошамкал по поводу Суслова: «Так он давно с ума сошел».

Вот так обстояло дело с нашей идеологией!..

История, конечно, занятая! И в то же время весьма характерная для партийного придворного круга, его образ жизни, своеобразная мораль и нравы были скрыты ото всех посторонних глаз.

По-моему, эта тема почему-то не затрагивается в тех мемуарах бывших цековских аппаратчиков, какие вышли в последние годы. Поэтому хочу вспомнить о еще одном моем впечатлении от многолетнего и тесного общения с ЦК партии.

Летом пятьдесят девятого года меня неожиданно вызвали в отдел ЦК партии, занимавшийся связями с социалистическими странами, заведующим отделом был Юрий Андропов. Меня пригласил к себе его заместитель – если не ошибаюсь, по фамилии Медведев. Сказал, что в отделе читали то, что я пишу и публикую, и предложил мне работать у них.

Я был не просто удивлен, я пришел в ужас! Для меня попасть в золотую клетку ЦК партии было равносильно по-

тере моей свободы, которой я в нашем весьма своеобразном обществе дорожил. Поэтому я сразу категорически отказался от такого предложения, сослался на то, что никогда не работал ни в каком аппарате. На что мне было заявлено: а мы приглашаем вас именно как человека пишущего. Тогда в ЦК задумали создать группу так называемых консультантов, которые писали бы разного рода выступления и документы для самого высшего руководства.

Я все равно продолжал упорно отказываться. Тогда мой собеседник куда-то вышел ненадолго, затем вернулся и попросил придти к нему снова на следующий день.

И вот я снова у него в кабинете. Он тут же отводит меня к Андропову и покидает нас. Повторяется вчерашний разговор. Андропов производит вполне благоприятное впечатление, интеллигентный на вид человек, правильная русская речь, грамотная, не засоренная аппаратными штампами. Почему же я все-таки не соглашаюсь с его предложением?

Похоже, что он удивлен, с его точки зрения, каждый с радостью согласился бы с такой переменой в жизни. Он хочет понять, в чем дело, но не могу же я ему объяснить, что просто не хочу терять свою, пусть и ограниченную свободу. Начать с того, что каждый день я должен буду являться на работу в девять часов утра и сидеть до шести вечера, если не дольше! И где сидеть – в ЦК партии, месте, по-моему, не самом приятном. Я так жить не привык.

Вижу, что мой собеседник начинает раздражаться из-за того, что не может понять причины моего отказа. Напоминает мне, что я член партии и что зовут меня на работу в высший партийный орган, могут и не приглашать, а приказать. В ходе нашего разговора он неожиданно спрашивает: «Сколько вы получаете в месяц?»

Я знаю, что в ЦК врать опасно – поскольку они вызвали меня, значит, выяснили обо мне все, что можно и честно говорю не только о моей зарплате, но и гонорарах, которые ее обычно превышают.

Сразу после этого моего признания мы мило расстаемся. Напоследок он говорит, чтобы я все же обдумал наш разговор и позвонил ему, если приму их предложение.

Потом я долго не мог понять, что же произошло, почему он вдруг отпустил меня с миром. Наконец, меня осенило! Все решил его вопрос о моих доходах. Ведь он мог предложить мне едва ли половину того, что я зарабатывал (а в аппарате ЦК будет не до гонораров!). Партийный прагматик решил, что я не хочу к ним идти, поскольку потеряю в деньгах.

У меня и в мыслях этого не было, когда мы с ним беседовали. А в этом аппарате уже давно свой интерес, личная выгода были превыше всего, потому так и понял меня Андропов, причем, не осудил. Наверное, посчитал еще дурачком: ухватился, мол, за свои гонорары и не понимает, что в ЦК в итоге получит больше при той системе привилегий, на каких там все и держалось – всестороннее обслуживание семьи, роскошная квартира, дача, спецпайки, зарубежные поездки, перспектива быстро сделать карьеру и тому прочее.

Группа консультантов тогда была создана, в ней оказались некоторые мои коллеги: Александр Бовин, Федор Бурлацкий и другие. Они вместе с помощниками секретарей ЦК партии составили своеобразный мозговой пишущий центр. По уровню образования они выгодно отличались от своих цековских шефов, хорошо владели пером и грамотно писали за малограмотное начальство.

Казалось бы, что их функции вполне мог бы выполнять отдел пропаганды ЦК партии, но почему-то ему это было просто не под силу. В нем часто сменялись работники, начиная с заведующего отделом. Каждый вновь усевшийся в его кресло тут же окружал себя своими людьми, которых приводил за собой. Таково было одно из многих неписанных правил большой партийно-бюрократической игры.

За тридцать лет моего общения с ЦК все эти заведующие были людьми серыми и тяжелыми. Их сила заключалась в демагогии и невежестве. На бесчисленных совещаниях, устраиваемых отделом пропаганды для руководителей столичных

средств массовой информации, я выслушал десятки сообщений ведущих сотрудников других цеховских подразделений, они, как правило, говорили по делу, конкретно, демонстрировали определенные глубокие знания в тех сферах, за которые они отвечали в ЦК – промышленность, сельское хозяйство, наука и тому прочее. Короче говоря, они выгодно отличались от сотрудников отдела пропаганды, которым вместо конкретного дела приходилось заниматься демагогией.

Софронов при его высоких связях в ЦК считал для себя излишним ходить на такие инструктажи, так что мне довелось присутствовать на них много лет подряд. Потом та же самая история повторилась и при Коротиче, когда мне по той же причине довелось по-прежнему присутствовать на этих встречах. Поэтому у меня впечатлений – хоть отбавляй!

На этих инструктажах царила атмосфера какой-то, я бы сказал, наглой и циничной откровенности, нам сообщалось о многих безобразиях и вопиющих фактах из жизни страны. Само собой подразумевалось, что дальше стен полукруглого зала в десятом подъезде здания ЦК партии эти данные никуда не пойдут, но считалось, что «надо ориентировать средства массовой информации».

Говорилось и о путях ликвидации трудностей, но от этого их не убавлялось. Известно, например, что только по одному сельскому хозяйству было принято множество постановлений ЦК партии, которые никакой пользы не принесли.

Когда же на этих совещаниях выступали руководители отдела пропаганды, то становилось просто невмоготу. Слушатели, в основном опытные журналисты, решали кроссворды, читали, перешептывались...

У меня сложилось впечатление, что в отдел пропаганды отбирали самых серых личностей из партийной номенклатуры. Так, например, много лет заведующим сектором центральных газет был специалист по физкультурному движению. Долгое время над этим отделом стоял его заведующий, а потом и секретарь ЦК Зимянин. Страсть как любил выступать! Причем, перед нашей аудиторией выступал «без бумажки». Слушать

его было невозможно. Малограмотный демагог с большим апломбом обожал слушать самого себя.

Из вождей, членов Политбюро, очень любил выступать Лигачев. Когда он появился в ЦК в начале перестройки – его приблизил к себе лично Горбачев!, то выступил перед нами почему-то с докладом о воспитании молодежи. Говорил «без бумажки», экспромтом, и это было ужасно. Все та же малограмотность, категоричность. Набор стертых штампов...

И, что самое удивительное для того времени, сразу стало ясно, что в ЦК одним сталинистом стало больше!

Потом мне довелось не раз слушать выступления и инструктажи Лигачева и в нашем полукруглом зале, и в его обширном кабинете, все в том же духе. Это был типичный партийный губернатор, много лет он просидел в Томске в кресле первого секретаря обкома партии. Таких, видно, ничто не исправит.

### *Снова по команде сверху*

В восемьдесят пятом году к власти пришел Горбачев, и начался отсчет нового времени, названного перестройкой. В «Огонек» она пришла позже, весной восемьдесят шестого года.

Светлым апрельским утром мне позвонил домой тот самый Севрук из ЦК партии, о котором шла речь выше. Попросил срочно приехать к нему. Встретил меня приветливо, как бы неофициально. Объявил, что передо мной вызвал к себе Софронова и предложил тому уйти на пенсию, то есть покинуть пост главного редактора журнала. Софронов понимал, что такой вопрос сам Севрук не решает, и тут же написал заявление.

Разговаривая со мной, Севрук сиял, как именинник. Почему вдруг? Был рад тому, что перестройка добралась и до журнала? Ни в коем случае! Он, как был, так и остался в душе цековским монстром старого закала. Будучи опытным партийным царедворцем, он не мог смириться с тем, что Соф-

ронов обычно игнорировал его, обходил на самом высоком уровне, водил дружбу и обделывал свои и журнальные дела с партийными вождями.

Словно заговорщик, Севрук попросил меня собрать в редакции весь коллектив, которому он сам объявит эту новость. В назначенный час он с явным удовольствием это и проделал. Я спросил его о новом главном редакторе, он ответил, что и сам не знает, кого назначат. Не соврал, без главного мы прожили еще три месяца, и я с большим удовольствием по-руководил, потому что наступило, действительно, интересное вольное время для журнала.

В июне восемьдесят шестого года в журнал пришел в качестве нового главного редактора Виталий Коротич.

Он родился в Киеве в тридцать шестом году. Там же окончил медицинский институт, несколько лет работал врачом. Писал стихи и прозу, в шестьдесят первом году был принят в Союз писателей. Перед переходом в «Огонек» работал главным редактором журнала «Всесвіт», занимавшегося зарубежной литературой. Много раз выезжал за границу, особенно часто в США и Канаду, в которой проживает много выходцев с Украины.

В Канаде в течение десяти лет перед началом перестройки нашим послом был Александр Николаевич Яковлев, изгнанный туда из ЦК партии как бы в почетную ссылку – давняя партийная традиция. Причина высылки: его выступления против черной сотни в нашей литературе. В Канаде Коротич и Яковлев просто не могли не встретиться. При назначении Коротича главным в «Огонек» не было секретом, что он человек Яковлева.

Я до этого Коротича не знал, встречал только иногда на разных мероприятиях в Союзе писателей в Москве, на которые он часто приезжал из Киева.

Перед самой перестройкой у нас с ним вышли большие книги о США, у него – «Лицо ненависти», у меня – «Американцы». Уже сами эти названия говорят о разной направленности нашей публицистики.

Его стандартно критическое наше отношение к «американскому империализму» не могло меня не удивить, ведь он был способным и умным человеком. Поэтому я послал ему в Киев своих «Американцев» с короткой запиской, никак не комментируя его книгу.

И получил от него письмо, в котором он с большой симпатией и знанием дела расхвалил мой труд. Конечно, это было для меня неожиданностью, такого отклика от автора «Лица ненависти» я никак не ожидал. Так мы заочно познакомились, не подозревая, что скоро, судьба сведет нас вместе под крышей «Огонька» на целых пять лет.

Все же думаю, что именно наше заочное знакомство с творчеством друг друга (с отношением к Америке!) сыграло решающую роль в том, как затем сложилась у нас с ним совместная жизнь и работа. Правда, эту тему мы с ним никогда не обсуждали.

Как это ни странно, мы вообще с ним по-человечески так и не сблизились, что было довольно необычно для главного редактора и его заместителя в то неожиданно вдохновенное время, которое закончилось с падением Горбачева. Уж больно разными людьми оказались мы с Коротичем. Даже «на ты» не перешли, даже ни разу не выпивали вдвоем, вне официальной обстановки (а оба – большие любители!). Тем не менее, я его вполне устраивал в течение всех пяти лет нашей совместной работы в журнале, на то были свои веские причины.

Прежде всего, я к тому времени уже больше двадцати лет отработал в «Огоньке», а ему требовалось еще долго-долго входить в редакционную жизнь, в столичные хитросплетения. Мне кажется, что он ценил мои деловые качества.

Была и еще одна причина, из-за которой Коротич не завел себе другого заместителя: он больше всего на свете любил зарубежные поездки, по любому поводу, в любую страну, лишь бы покататься, на людей посмотреть и себя показать. Он быстро убедился, что может спокойно всюду разъезжать, оставляя журнал на меня.

Думаю, что за пять лет своей работы на посту главного редактора журнала он, по меньшей мере, половину времени провел за рубежом. А когда Коротич возвращался, я тоже часто уезжал, в основном, в США.

За все годы нашей совместной работы у нас с ним не было ни одной размолвки! И в то же время друзьями мы не стали.

Наконец, было и еще одно обстоятельство, которое определяло ситуацию в редакции: выше я уже упоминал, что первый сподвижник Горбачева и главный идеолог перестройки Александр Николаевич Яковлев был как бы негласным шефом-редактором журнала, рассматривал его как свой учебный полигон, и Коротич чувствовал себя за ним как за каменной стеной.

Яковлев, несомненно, был светлым человеком, но именно по нему было видно, что перестройка проводится сверху и ей явно не хватает таких же лидеров, каким оказался Яковлев. Стоило Горбачеву отдалить его от себя в девяносто первом году – на мой взгляд, это была главная и роковая ошибка Горбачева, как Коротич тут же оставил свой пост главного редактора, а перестройка, как известно, обанкротилась.

В многолетней истории отдела пропаганды ЦК партии Яковлев оказался единственной яркой фигурой, в этом была его сила и... трагедия: он являлся как бы белой вороной. О нем, так же как и о Коротиче, я подробно вспоминаю в моей книге «Слово и власть: посмотрелся всласть», здесь же приведу один характерный случай.

Среди бесконечного потока иностранных визитеров, в основном писателей и журналистов, зачистивших в «Огонек» в годы перестройки, к нам в редакцию приехала группа сотрудников известного французского журнала «Актуэль».

Несколько дней они провели с нами, Коротич отсутствовал, поэтому мне пришлось заниматься с ними. В результате они посвятили «Огоньку» в одном из своих номеров двадцать восемь страниц текста и фотографий, обильно цитировали меня и даже почему-то назвали главным редактором журнала, кстати, сослались и на мое высокое мнение о Яковлеве.

Вскоре мне позвонил Яковлев – значит, ему уже доложили об этом материале в «Актуэле». Он поинтересовался, когда это я стал главным редактором без его ведома и расспросил о французских визитерах, затем в ходе нашего разговора он подробнейшим образом изложил мне историю о том, как и почему его направили из ЦК послом в Канаду.

У меня после этого разговора осталось не только приятное воспоминание, но и странное впечатление.

По-моему, Яковлев должен был понимать, что мне подробности его ухода из ЦК давно известны, а вот он зачем-то все это вспомнил. Говорил он со мной по «вертушке», правительственному телефону, который, несомненно, прослушивался и записывался. Значит, ему зачем-то это понадобилось.

Что Яковлев! Коротич рассказывал мне, как сам Горбачев в своем кабинете говорил на какую-то невидимую публику, то есть на запись, на прослушивающее устройство.

Даже в годы перестройки в ЦК в основном управляла прежняя номенклатура, но не только старые аппаратчики потянули перестройку на дно. В стенах ЦК партии сами реформаторы не оказались стойкими борцами за нее. Все они в предыдущие десятилетия, при Хрущеве и Брежневе, сделали в ЦК блестящие карьеры, затем, при Горбачеве, без всяких потрясений обрели имидж реформаторов. Я назвал бы их п р и д в о р н ы м и д и с с и д е н т а м и.

Все, кто карабкался вверх по номенклатурной лестнице, так или иначе теряли сами себя, иссыхал их интеллект, разрушалась нравственность.

Этот закон номенклатурного роста не знает исключений.

### ***Старое и новое***

Перестройка в журнале началась с обновления редакционного коллектива. Вскоре из прежних членов редакционной коллегии осталось только два человека, остальными стали новые руководящие сотрудники и в добавление к ним два, наверное, самых известных в то время народных любимца –

великий актер и клоун Юрий Никулин и великий окулист Святослав Федоров. В редколлегии они не только достойно представляли искусство и науку, но и вообще активно участвовали в работе журнала и жизни коллектива.

Будучи людьми всемирно известными и всегда бесконечно занятыми, они тем не менее регулярно являлись на заседания редколлегии один раз в неделю, принимали участие во многих самых разных массовых мероприятиях, устраиваемых журналом, общение с ними стало для нас одним из самых ценных подарков перестройки.

Обновился и редакционный коллектив в целом. Как ни странно, этот процесс прошел безболезненно. Дело в том, что «Огонек» в своей кадровой политике копировал Политбюро ЦК партии: большинство огоньковцев уже давно перевалило за пенсионный возраст. Если Коротич сам управился с набором новой редколлегии, то с коллективом редакции он поручил разобраться мне (это – около ста человек).

Думаю, было бы справедливее провести эту акцию нам с ним вместе, но он, как оказалось, всегда старался избегать всяких конфликтов, выглядеть добрым барином, в этом он был удивительно похож на своего предшественника Софронова. Забегая вперед, нельзя не вспомнить о том, что он был вообще равнодушен к своим сотрудникам, его показной демократизм был с явным привкусом безразличия, а не сердечности.

Он, видимо, считал, что им достаточно приличной зарплаты и гонораров, видного положения и заслуженной известности. В те годы журнал был самым популярным из всех наших периодических изданий, у газетных киосков с раннего утра выстраивались очереди, чтобы успеть приобрести вышедший номер. А нашим новым огоньковцам, блестящим мастерам своего дела, требовалось еще и простое человеческое внимание со стороны главного редактора, но его не было.

За пять лет работы «Огонька» под руководством Коротича, с восемьдесят шестого по девяносто первый год, в наш

коллектив сначала пришли, а затем его покинули многие талантливые журналисты. Как это ни странно, но главный редактор расставался с ними без сожаления. Все они тут же становились ведущими сотрудниками в других периодических изданиях, поскольку тогда в нашей профессии не было марки выше, чем огоньковская.

Нет ни малейшего сомнения, что в том самом звездном времени журнала Коротичу принадлежит главная заслуга. Он проявил себя хорошим генератором идей, которые тут же начинали осуществляться. Он был пишущим главным редактором, что выгодно отличало его от распространенных у нас главных редакторов-начальников.

На страницах «Огонька» Коротич выступал мало, в основном с короткими, причем, всегда злободневными публицистическими заметками. В повседневной своей работе он умел лихо повернуть в нужную сторону любой материал, мигом приписать к нему начало или конец, четко расставить важные акценты. Коротич быстро и верно решал судьбу рукописей, и мы с ним не расходились в своих оценках, что, наверное, позволило нам, людям очень разным, дружно отработать вместе пять бурных лет.

Итак, с восемьдесят шестого года «Огонек» пошел по курсу перестройки. Это был не простой процесс, в каждом номере журнала явные рецидивы прошлого соседствовали с новым содержанием. Иначе, наверное, и быть не могло, как говорится, Москва не сразу строилась.

Так, например, по воле Горбачева вдруг заголосили о каком-то ускорении перестройки – словно в прежние времена, о «пяtilетке в четыре года». «Огонек» тут же начал философствовать о «заряде ускорения». Это было еще полбеды, другой горбачевский лозунг: «Больше социализма!», преследовал нас все его правление. Журнал вслед за ним тоже надрывался: «Больше социализма!».

Так, уже в восемьдесят восьмом году, в самый разгар перестройки, «Огонек» на пяти своих страницах опубликовал стенограмму «Круглого стола», посвященного этой теме и

устроенного в редакции. Тринадцать ведущих экономистов, историков, социологов и философов приняли участие в этой затее. Огромный для журнальных понятий материал начинался высказыванием Горбачева: «Мы стремимся в современных условиях возродить ленинский облик нового строя, очистить его от наслоений и деформаций, освободиться от всего того, что сковывало общество и не давало в полной мере реализовать потенциал социализма».

В нашем обиходе уже давно и прочно поселилось такое понятие, как «ген». Так вот эту цитату Горбачева вполне можно определить как тот самый ген, который и погубил перестройку. К сожалению, должным образованием он не отличался – по традиции, общей для всех наших предшествовавших ему вождей. Он возглавил не всенародную перестройку, а придворную, не подлинных реформаторов, а придворных диссидентов, они же его в конце концов и предали.

Надо, правда, отметить, что журнал все же постепенно начал преодолевать то, что можно назвать горбачевской инерцией. Тут можно напомнить лишний раз, что у «Огонька» был еще негласный шеф-редактор Яковлев, совестливый человек большого ума и больших знаний. Под торжественные восклицания о том, что нам нужно «Больше социализма!», журнал рассказал, как Лев Толстой незадолго до своей смерти работал над статьей «О социализме». У нас ее до сих пор не найдешь днем с огнем. Ее можно отыскать только в огромном академическом собрании сочинений писателя, изданном в тридцать шестом году небольшим тиражом. Мы обильно цитировали в журнале эту работу великого писателя и, в частности, приводили такие его слова:

«Революция только та благотворна, которая разрушает старое только тем, что уже установила новое... Не склеивать рану, не вырезать ее, а вытеснить ее живой клетчаткой».

А где она, у Горбачева, эта живая клетчатка?! Вместо нее он предлагает нам «возродить ленинский облик социализма».

Да, старое цеплялось за нас, как репей, мертвый все еще хватал живого. С начала восьмьдесят седьмого года к семи-

десятилетию советской власти «Огонек» завел в журнале новую рубрику: «Великая Октябрьская социалистическая революция – главное событие XX века». Открыли эту рубрику так, как это можно было сделать и задолго до перестройки: взяли интервью у академика Минца, ученого сталинской выучки, верного идеологического слуги диктатора. Он заявил на страницах журнала: «К семидесятилетию Октября читатель получит двухтомный коллективный труд «Великий Октябрь и защита его завоеваний», созданный в Институте истории СССР Академии наук СССР».

Номер же, посвященный семидесятилетию Октября, открывался таким ленинским лозунгом: «Советский тип государства нами завоеван, – это есть шаг вперед всего человечества».

В том же номере журнала был опубликован рассказ Александра Бека «Юбилейный вечер», в нем два героя: мудрый и скромный Ленин и злодей Сталин.

Не менее противоречиво сталкивалось в журнале старое и новое в его литературной политике. В начале восьмидесяти шестого года мы напечатали большую подборку стихов Николая Гумилева к столетию со дня его рождения, а вскоре и большую, на несколько журнальных страниц, статью о нем. Эти публикации о поэте, расстрелянном советской властью, стали самой главной литературной сенсацией в этом начальном периоде перестройки, с них, можно сказать, и начался рост небывалой популярности журнала. Со стихов и рассказа об их авторе! Будут ли еще времена, когда такие события снова станут возможны?!

А в следующем номере получился просто грустный анекдот. В нем была напечатана небольшая рецензия на двухтомник Бориса Пастернака, а рядом с ней – стихи Егора Исаева, одного из руководителей Союза писателей в связи с его шестидесятилетием. Автор опубликованной тут же статьи о нем, видимо, не смог найти ничего подходящего в творчестве юбиляра и привел в качестве шедевра такие вот «откровения» Исаева:

*Земля – от неба,  
Дерево – от корня.*

И далее:

*Река – от родника.*

Каково это выглядело рядом со статьей о Пастернаке?! Аналогичных примеров из «Огонька» тех лет можно привести немало. Опубликовали отрывки из романа В. Дудинцева «Белые одежды», из романа А. Бека «Новое назначение» – еще неизвестные читателям сильные и актуальные произведения, и тут же напечатали отрывок из романа А. Проханова, воспевающего нашу агрессию в Афганистане.

Мало этого позора. Опубликовали в журнале отрывки из романа И. Стаднюка «Война», написанного им под диктовку Молотова, вскоре, правда, поместили в журнале статью, разоблачающую эту любимую книгу сталинистов, в которой все графоманские усилия автора направлены на искажение подлинной истории Великой Отечественной войны.

Опубликовали «Воспоминания о Твардовском» Ю. Трифонова и отрывок из его романа «Исчезновение», отличную прозу, и в то же время – главы из романа А. Чаковского, одного из многих «автоматчиков» в литературе, выступившего со своим очередным совершенно беспомощным сочинением.

Непростое было время, но новые имена и идеи все увереннее заявляли о себе в журнале: появился в нем С. Аверинцев, А. Вознесенский выступил со статьей о В. Ходасевиче, пришел в журнал со своей прозой Ф. Искандер, мы широко представили читателям неизвестные стихотворения М. Цветаевой, опубликовали «Печальные беседы» с автором «Печального детектива» В. Астафьевым.

Авторами журнала стали: Б. Окуджава, В. Конецкий, Ю. Мориц, Э. Радзинский. Ал. Иванов, выдающийся пародист. В целом в литературном направлении журналу удалось держать более верную и, главное, четкую линию, чем в политике и экономике.

## *Горбачев ругается матом*

Перестройка началась с беззаботно-оптимистических лозунгов, по старой советской традиции отчасти и демагогических. Выдвинул их сам Горбачев: «Мы все за перестройку!», «...по одну сторону баррикад», «...в одной лодке». Это была его серьезная ошибка, никак нельзя было ложиться на новый курс без учета возможностей противоборствующих сторон. Эти лозунги привели не только к недооценке сил врагов перестройки, но и к отсутствию учета сил собственных.

В шахматах есть такая аксиома: без объективной оценки возможностей своих и соперника резко падает класс шахматиста. Эту истину в ее более широком смысле лишний раз подчеркнул крайне низкий теоретический и практический уровень перестройки.

В восемьдесят седьмом году «Огонек» решил все же выяснить подлинное соотношение сил на фронте борьбы за реформы. Подошли мы к этому делу серьезно, опрос проводили новосибирские ученые – именно в Новосибирске был главный филиал нашей Академии наук. В этой акции от нас участвовали член редколлегии журнала Д. Бирюков и московский корреспондент американского журнала «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» Д. Тримбл.

Результаты опроса были опубликованы в журнале: за перестройку – тридцать процентов опрошенных против – двадцати, относятся к ней равнодушно – пятьдесят процентов. Специалисты считают, что для любого нового дела такое соотношение может только обнадеживать, они утверждают: чтобы общественная система успешно развивалась, надо иметь как минимум двадцать процентов людей, которые едины в принятии каких-то новых ценностей.

Наше руководство, будучи по традиции весьма ограниченным и недалеким, думало иначе. Прочитав о нашем опросе в журнале, Горбачев разгневался, говорили, что изволил даже нецензурно выражаться по этому поводу – тоже дурная советская традиция. Начался большой скандал...

Тут у нашего лидера перестройки, наверное, примешалась и личная обида: свой придворный журнал со своим редактором решил так усомниться в его политике! По всему ЦК партии пошли волны: «Оклеветали перестройку, оскорбили ее лидера!» Из Москвы в Новосибирск вылетела комиссия ЦК партии, которая, разумеется, доказала в результате своего расследования, что никакого «серьезного опроса не было и что журнал сам все выдумал».

В Америке результаты опроса тоже были опубликованы одновременно с «Огоньком», но к американцам Горбачев никаких претензии не предъявлял, зато отыгрался на нас. Сначала из ЦК партии в редакцию поступил приказ – совсем как до перестройки! – уволить с работы Д. Бирюкова и исключить его из партии, а также наказать в редакции всех, кто принимал участие в этой акции.

Было также приказано опубликовать в «Огоньке» опровержение, текст которого прислали нам в редакцию из ЦК.

С этого случая симпатия Горбачева к журналу пошла на спад, но не скажу того же о Яковлеве. А он пока шел в гору, и его покровительства для журнала было вполне достаточно.

### *Заговор Лигачева*

Вскоре мы снова разгневали Горбачева, а заодно и Лигачева, тем, что активно выступили против того, как они по-глупому повели борьбу с пьянством. Это уже потом стало ясно, что им обоим надо было бы предъявить поистине неоплатный счет за ту совершенно абсурдную кампанию. Сотни миллиардов рублей потерял государственный бюджет, зато обогатились самогонщики и организованная преступность, борьба, развернутая якобы во имя оздоровления нашего общества, привела к его дальнейшему разложению.

У нас и раньше пили не очень доброкачественную водку и другие спиртные напитки, а в результате этой кампании они превратились вообще в отравленное самогонное пойло – производство водки резко сократилось, и она значительно подо-

рожала. Позором перестройки, издевательством над народом стали бесконечные очереди за водкой, в них во время давки погибли сотни людей. Ко всему прочему резко возросла наркомания...

А что же наша общественность? Вроде бы новые времена наступили?.. Но в данном случае напор властей был велик, как никогда. Тем не менее мы решили выступить против этой безумной кампании, ударили по ней из самого тяжелого журнального калибра – большого очерка – на пять журнальных страниц! «Мускат белый Красного камня», его написал известный публицист Юрий Черниченко.

Он поведал в своем очерке о судьбе Павла Яковлевича Голодриги, всемирно известного ученого-биолога, виноградного селекционера, директора Всесоюзного научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач».

Голодрига лично отвечал за огромные – в двенадцать раз больше довоенных – плантации винограда в Крыму. Это был не только выдающийся ученый и практик, но и гражданин с большой буквы. Прошел всю войну, спортсмен, в шестьдесят с лишним лет обладавший могучим здоровьем. Беззаветный труженик.

Но и он не вынес беспредела. На его глазах гибли виноградные плантации. Их уничтожали бульдозерами, тысячи гектаров! Местное начальство по привычке выслуживалось перед советской властью. В нашем очерке говорилось:

«Когда профессор Голодрига принял решение уйти из жизни, мускат белый, «слава Крыма» достигал ранее около шести тысяч гектаров, сохранился в области лишь на триста девяносто четырех... Мускат черный уцелел на пятидесяти шести гектарах, розовый – на тридцати...»

Да, ученый покончил с собой. Эту трагедию попытались скрыть от общественности и заграницы, запретили хоронить ученого на городском кладбище в Ялте. От мести Горбачева за этот очерк нас спасло только самоубийство Голодриги, но большое зло он на нас затаил...

Самым страшным следствием горбачевской борьбы с алкоголем стало то, что она нанесла смертельный удар по перестройке, вера в нее была подорвана непоправимо, не говоря уже об авторитете самого Горбачева.

Как известно, в то время правой рукой Горбачева оказался Егор Лигачев. Реакционер до мозга костей, он делал все возможное и невозможное, чтобы сорвать перестройку, а вот Горбачев неосмотрительно держал его при себе в качестве официального держиморды. Не случайно именно Лигачев практически проводил антиалкогольную кампанию, по старой советской традиции он с особым удовольствием и здесь перегибал палку, как только мог. У меня нет никакого сомнения в том, что он делал это намеренно, чтобы подорвать перестройку.

Любопытно, что через несколько лет, уже расставшись с властью, Горбачев тоже кое-что понял. В девяносто шестом году, вознамерившись поучаствовать в президентской гонке, он, разумеется, сразу налетел на вопросы избирателей по поводу антиалкогольной кампании. Горбачев в ответ заявил, что «передоверился и Лигачеву, и Соломенцеву – тоже член Политбюро, такой же, как и Лигачев, старый партийный монстр, когда вся страна была выстроена в очередь за спиртным, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет». А зачем же надо было держать около себя дурака?! Чтобы других пугать, а самому на его фоне умным выглядеть?

Антиалкогольная кампания потерпела крах еще при Горбачеве, когда в восемьдесят девятом году подсчитали, что общий ущерб от нее составил двести миллиардов рублей (в ценах того времени), то есть половину государственного бюджета восемьдесят шестого года! Спасение от этой катастрофы нашли только одно – началось резкое увеличение производства водки.

Во всей этой трагической истории есть еще одна страница, она мало кому известна, но для придворного журнала секрета не представляла. Дело в том, что родной брат жены Горбачева был алкоголиком, его много лет лечили, но ничто

не помогало. Понятно, что для Раисы Максимовны это был тяжкий крест, а женщина она была, как известно, эмоциональная, причем, имела колоссальное влияние на мужа. Ее личное горе не могло не давить и на Горбачева, чем отчасти и объяснялась его дурная активность в проведении борьбы с алкоголем. Убежден, что и Лигачев сумел разыграть эту карту, «дурак» преуспел в своем заговоре против «умного».

Я согласен с оценкой Коротича, которую он дал Горбачеву на страницах «Огонька» накануне своего ухода из редакции в роковые дни августа девяносто первого года – так что он мог высказаться вполне откровенно:

*«Всегда я пытался понять, почему вокруг Горбачева на самых важных постах столько людей невыразительных, неопределенных, неброских. Особенно среди идеологов (за исключением Яковлева, конечно). То ли он сам оставлял себе все эти вопросы, не подпуская к ним большое количество людей с собственным мнением, то ли ему нужен был такой фон, чтобы выглядеть получше, то ли не он, а другие расставляли идеологов вокруг него, как забор, отделяющий лидера страны от правды о ней».*

Коротич не раз рассказывал мне о своих встречах с Горбачевым и другими руководителями ЦК партии. При этом бывало все – от благожелательных увещаний до грубой ругани и угроз. Но приводить такие эпизоды я не рискну, получился бы пересказ с чужих слов, поэтому я снова процитирую самого Коротича, который высказался в интервью, опубликованном в газете «Московский комсомолец» в сентябре девяносто первого года, то есть уже после ухода его из журнала.

То, что было написано в газете, вполне соответствовало тому, что мне рассказывал сам Коротич. Итак, отрывок из этого газетного интервью:

*«Но вы вынуждены были ходить на ковер и к Крючкову (тогдашний глава КГБ – В. Н.), и к Горбачеву. И, помнится, рассказывали, что у вас создавалось впечатление: отчитывая вас матерными словами, Михаил Сергеевич слишком отчетли-*

*во артикулировал, очень громко и раздельно произнося брань и – намекали вы – стараясь, чтобы запись на засекреченной пленке получилась отчетливой. Вы по-прежнему считаете, что Горбачеву приходилось работать под колпаком КГБ?..*

*– Не знаю, не знаю. Я убежден, что он подслушивался. И знал об этом. Когда он орал на меня, это было так на него непохоже. В этом было что-то непонятное. «Лигачев уже семнадцать лет в ЦК, я в нем уверен», – шумел Михаил Сергеевич. – «Ты что, учить меня будешь, кто мне друг, а кто враг?» – спрашивал он, срываясь на крик, но с совершенно спокойными и доброжелательными глазами. А я давился бутербродами с вареной колбасой, какими он меня угощал, и ничего не соображал.*

*Потом уже Яковлев дал мне понять, что генсек спасал меня от Политбюро. В этот день, оказывается, должно было быть заседание Политбюро, на котором меня должны были воспитывать. И Горбачев взял на себя личную миссию – воспитать меня. И несколько раз еще Горбачев устраивал такие спектакли, рассчитанные на засекреченные глаза и уши.*

*Ничего себе, нравы цековского двора! Подслушивают друг друга – это еще Сталин начал в двадцатые годы, как бы кого кого первым не подсидел.*

### **«Любера» и другие скандалы**

В восемьдесят седьмом году произошло наше очередное крупное столкновение с властями, которое дошло до самого высокого уровня – Политбюро ЦК КПСС.

Скандал разгорелся по поводу так называемых люберов, неожиданно появившихся в подмосковном городе Люберцы. Там, как грибы после хорошего дождя, начали создаваться десятки молодежных спортивных секций по тяжелой атлетике и культуризму, сотни юношей и подростков усиленно накачивали свои мускулы. Откуда-то нашлись средства на спортивное оборудование, откуда-то нашлись средства на переустройство подвалов и многих других помещений в спортивные центры.

Окрепшие в них люберецкие ребята, любера, начали регулярно наезжать в столицу и терроризировать, а заодно и грабить молодых москвичей, которые им не нравились уже по их внешнему виду.

У самих же любителей дело с их поведением, моралью и внешним видом обстояло странно: они больше всего напоминали отряды молодых штурмовиков в гитлеровской Германии.

Наш репортер Яковлев посвятил много времени изучению этого феномена, провел буквально следовательскую работу, обзавелся нужными документами, фонограммами, видеокадрами. Было похоже, что за спиной любителей тайно стоят какие-то властные структуры, по меньшей мере, местная милиция, но сама она, без чьей-то инициативы сверху, никогда бы на такое дело не решилась.

В репортаже Яковлева, который мы напечатали в журнале, примерно об этом и говорилось. Например, он писал:

«Их было человек пятьдесят. Они вышли из станции метро «Кропоткинская» *(то есть в центре Москвы – В. Н.)* и расселись в темноте по скамейкам, чего-то ожидая.

– Что вы здесь делаете?

– Хиппарей ждем. У них сегодня тусовка. Разгоним...

– А зачем?

– Хиппи, панки и металлисты позорят советский образ жизни. Мы хотим очистить от них столицу.

... По сути, десятки молодых «люберов» проходят сегодня на ночных улицах города своего рода школу насилия, где становится предельно ясной и очевидной «простая истина» – человека можно ограбить, человека можно избить, если ты сильнее его.

... Все это неизбежно наталкивает на мысль: их действия не случайны; не управляет ли ими умелая и опытная рука?»

Опасения репортера быстро подтвердились. Министр внутренних дел СССР Власов написал (по-моему, выдавая сам себя) жалобу на «Огонек» в ЦК партии и был вызван туда вместе с Коротичем на самый верх.

Наш главный потом рассказывал, что он оказался перед лицом разгневанного руководства ЦК партии, накаленная ат-

мосфера была явно не в его пользу после того, как министр внутренних дел с гневом отверг «клевету в адрес советской милиции».

Стало ясно, что Коротич был вызван на расправу. Тогда он раскрыл наши карты, рассказал о том, что не вошло в репортаж Яковлева. Присутствовавшие там милицейские руководители были явно ошарашены, они не ожидали, что какие-то обыкновенные журналисты могут провести расследование по всем детективным правилам.

Партийные боссы тут же явно смутились и начали спускать все на тормозах – как никак все же шла перестройка. Предложили создать комиссию и намекнули, что обеим сторонам не мешало бы пойти на мировую. В итоге нам все же удалось сорвать эту милицейскую затею с люберами, которая весьма дурно пахла.

Кстати, наш репортер Яковлев, герой этой истории, вскоре ушел из «Огонька» и стремительно вырос, так же как и многие бывшие огоньковцы: он основал газету «Коммерсант» и крупное издательство. Быстро его дело разрослось до таких больших масштабов, что газета стала, пожалуй, самой солидной в стране.

Немало других похожих сюжетов можно записать в актив журнала. Еще одним из них стало разоблачение преступной политики узбекского партийного руководства в отношении школьников республики.

Ежегодно в течение нескольких осенних месяцев их нещадно эксплуатировали на уборке хлопка. Антисанитария, полуголодное существование, массовое отравление детей и подростков «химией», сконцентрированной на полях, отрыв от учебы на всю осень – все это стало в Узбекистане нормой жизни, к этому привыкли.

Из наших материалов на эту тему особенную ярость узбекских партийных руководителей вызвала маленькая заметка «Хлопкораб» с большой фотографией такого раба, на вид ему лет восемь.

Власти республики подняли большой провокационный шум: «Огонек» обозвал узбекский народ нацией рабов!» Эту недостойную кампанию в Москве возглавил бывший крупный узбекский руководитель Нишанов, ставший в то время одним из лидеров парламента страны.

Высшим пиком популярности журнала стало разоблачение, так называемого, узбекского дела, в котором хлопковые рабовладельцы предстали не только как истязатели школьников, но и расхитители государственного имущества в невиданно крупных масштабах. Их приписки при сдаче хлопка государству достигали просто немыслимых размеров, деньги делались буквально из воздуха.

В этот преступный и давно отлаженный процесс были втянуты многие чиновники, снизу до самого верха, метастазы этой коррупции добрались и до Москвы, до ЦК партии! Летом восемьдесят восьмого года журнал опубликовал статью двух следователей, Гдляна и Иванова, об этом деле, в ней впервые многие вещи были названы своими именами, в том числе сообщалось и о коррупции в ЦК партии в Москве (впервые в истории советской власти!). В статье, в частности, говорилось:

«Итак, сверху – от бывшего первого секретаря ЦК партии Узбекистана, бывшего кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Рашидова – и до низу, до председателя колхоза – такова вертикаль преступной структуры. Кто же позволил ей преступно работать? Кто на протяжении более двух десятилетий покрывал тягчайшие преступления?.. Главным покровителем Рашидова был прежний лидер партии Брежнев. Осталось и поныне здравствует звено, которое не только одобряло антипартийные действия, но и само выступало в роли участника... Дело в том, что есть неписанные «законы», согласно которым члена ЦК, скажем, не просто привлечь к ответственности. Даже когда некоторые из них изобличены в корыстных преступлениях».

Так у нас еще никто и никогда о ЦК партии не писал! А ведь эта статья появилась как раз накануне очередной Все-

союзной партийной конференции. Вот на ней перепуганные партийные взяточники самого высокого аппаратного ранга и решили дать бой зарвавшемуся, с их точки зрения, журналу.

Их можно было понять, с трибуны конференции раздался прямо-таки истеричный вопль: «Огонек» совсем зарвался и настаивает, что среди делегатов конференции (собран весь цвет партии!) сидят уголовные преступники, взяточники.

Разъяренные высшие партийные функционеры сломали повестку дня и потребовали Коротича к ответу прямо с трибуны конференции, решив, по всей вероятности, устроить над ним нечто вроде партийной гражданской казни. Они не знали, что следователь Гдян передал Коротичу запечатанный конверт с именами сидящих в этом кремлевском зале взяточников, замешанных в узбекском хлопковом деле.

И вот наступил кульминационный момент конференции: Коротич вышел на трибуну по требованию ее участников (он сам тоже там заседал, но выступать не собирался). Он разъяснил позицию журнала в узбекском хлопковом деле и в заключение своего короткого выступления публично, демонстративно передал сидевшему в президиуме конференции Горбачеву запечатанный конверт, который ему вручил следователь Гдян.

Эту сцену передавали в прямом эфире и потом много раз повторяли ведущие телекомпании всего мира! Надо было видеть тогда лица узбекских делегатов той конференции и лица их московских покровителей! Такой гадости от «Огонька» они никак не ожидали. Без этого эпизода об этой весьма обычной поначалу партийной конференции все забыли бы на следующий день...

Затем было арестовано несколько высоких партийных функционеров в Москве и Узбекистане, но, в конечном итоге, начавшееся было разбирательство затянулось на несколько лет. Политбюро явно испугалось, когда в связи с этим скандалом начали склонять имя Лигачева. Ко всему прочему это разбирательство не получило должного размаха и потому, что многолетний узбекский партийный лидер, местный царь

Рашидов не вынес всех передеряг и покончил с собой, думаю, поспешил.

Я не раз встречался с Рашидовым по делам журнала, он помогал мне в командировках по Узбекистану, о его республике я не только писал в журнале, но и сделал несколько документальных фильмов. Так что у меня было время близко общаться с Рашидовым и его окружением. Он был прежде всего интеллигентным и воспитанным человеком, чем выгодно отличался от многих высших партийных сановников. С утра до ночи сидел в своем кабинете в местном ЦК, жил скромно, вел себя тихо, сдержанно; можно сказать, что упивался своей безраздельной властью в своей республике скромно и молча. А то, что он был очень властолюбив (повосточному), это несомненно.

Но был у него один забавный недостаток: любил писать романы! Искренне считал себя прозаиком, но читать его произведения о наших социалистических преобразованиях просто невозможно. Я близко знал обоих московских писателей – они были довольно среднего уровня, которые много лет помогали Рашидову в его писаниях. Он их за это не забывал, и жили они, как у Христа за пазухой.

Графомания, по-моему, это серьезное психическое заболевание, вроде шизофрении, за полвека работы в журналистике и литературе я имел возможность убедиться в этом, прочитав сотни графоманских работ и познакомившись со многими их авторами. Может быть, поэтому Рашидов и покончил с собой.

Кстати, в то же самое время покончил с собой министр внутренних дел СССР Щелоков (его тоже обвинили в коррупции), который при Брежневe стал очень видной и влиятельной фигурой. Так вот он считал себя живописцем, писал маслом картины, создал милицейскую художественную студию, активно вмешивался в дела художников. Как-то он при мне настоятельно рекомендовал Софронову почаще публиковать в «Огоньке» цветные репродукции с картин Ильи Глазунова.

Одним из отголосков узбекского дела стал процесс над Чурбановым и руководителями милиции Узбекистана. Чурбанов был в свое время рядовым сотрудником ЦК комсомола, оттуда его направили на работу в милицию. Будучи там уже в звании подполковника, он познакомился с дочерью Брежнева Галиной, стал ее мужем и быстро вырос до генерал-полковника, первого заместителя министра внутренних дел Щелокова, только что упомянутого выше.

«Огонек» подробно писал об этом процессе, и я несколько раз ходил на него. Коррупция, взятки и беззаконие. Чурбанов сам даже не брал, ему так давали, что, буквально, в карман клали.

Хотя процесс проходил и в Верховном суде, на меня он произвел тягостное впечатление. Судьи – три генерала, потому что все обвиняемые были со званиями, прокурор, подсудимые, свидетели – все были похожи на слабых актеров-любителей из театра абсурда. Только защитники обвиняемых оказались вполне нормальными людьми с достаточно развитым интеллектом. Просто разыгрывался низкопробный спектакль: судить надо было в этом зале не этих никчемных и алчных людишек, а тех, кто на самом деле возглавлял коррупцию в Ташкенте и Москве.

Лишь один из подсудимых, похоже, раскаялся и был откровенен в ходе следствия и процесса. Поэтому прокурор вполне обоснованно просил осудить его только на шесть лет (все остальные получили больше), но судьи дали ему девять. Учитывая прокурорский запрос, случай беспрецедентный! Наверное, намек всем другим, замешанным в узбекском деле, чтобы помалкивали...

Вообще в годы перестройки время было беспокойное, смутное, стремительно делались многие политические карьеры и сосредотачивались огромные богатства в руках ловких дельцов.

Так, например, сразу приобрели широкую известность новые члены нашего парламента – Верховного Совета СССР, до этого их абсолютно никто не знал. Стал его депутатом и Ко-

ротич, его выдвинул на это место город Харьков, поскольку он родился на Украине и прожил там полвека.

Из-за огромной популярности «Огонька» руководство города Таганрога предложило и мне баллотироваться от них в Верховный Совет. Признаться, я было призадумался над этим предложением, хотя всегда стремился быть подальше от любой власти, уж очень я ее у нас не любил. Но время настало такое, что какие-то надежды на лучшее будущее казались вполне реальными.

Когда же я сообщил об этом предложении моей жене, она самым решительным образом, не раздумывая, попросила меня и не помышлять об этой затее. К тому времени мы прожили с ней вместе уже четверть века, с шестьдесят второго года, вырастили двух дочерей и всегда принимали все наши решения единогласно: два голоса «за» или два голоса «против».

Таким образом, я отказался от предложения из Таганрога, после этого они еще не раз звонили мне, уговаривали, пришлось даже скрыться от них на несколько горячих дней выдвижения кандидатов в депутаты.

Жалею ли я сегодня об этом? Нет,нисколько, моя жена была, как всегда, права.

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Игорь Альмечитов

**Двадцать пятая весна...**

...Почему он, в конце концов? Мысль навязчиво преследовала. Как ни пытался он доказать себе, что был полностью равнодушен к ней, сам процесс постоянного доказывания медленно сводил с ума.

Почему он? Что определило их выбор? Его неуравновешенная натура? Прошрое, где его единственным умением было убивать? Козел отпущения со стороны? Наверняка все вместе и каждый аспект в отдельности...

Восемь тысяч долларов наличными за заказ. Отчего-то он сумел подавить спонтанное желание сразу согласиться, оговорив несколько дней на раздумье, чуть ли не впервые изменив привычке начинать и заканчивать все на одном дыхании.

Несколько раз подходил с противоречивыми чувствами к телефону готовый или твердо согласиться или отказаться. Однажды даже набрал номер, но услышав первый гудок, нервно опустил трубку.

Мысли – от успокаивающих до абсолютно безумных в бешеном ритме проносились в мозгу. Ни одна не удовлетворяла его. Голова раскалывалась от невозможности принять решение.

То же происходило и с настроением – огромные скачки от истерической эйфории, где он хохотал пугающим даже

себя самого смехом, сменялись полным упадком физических и истощением моральных сил – падал на кровать, зарывался лицом в подушку, ожидая, что решение само найдет его или, на худой конец, чтобы провалиться в черный и глубокий сон без сновидений.

Но раздраженное воображение не успокаивалось и во сне. Нарисованные картины смешивались с реальностью, причудливо переплетались с ней, пугая несуществующими подробностями...

...Шум ветра за окном, едва слышная вибрация стекол, журчание воды в трубах, редкие звуки, падающих в подставленную тарелку капель из протекающей батареи. Он лежал, не двигаясь, медленно переползая ото сна к реальности, все еще не совсем понимая в полудреме, где находится.

...Звук старых, отстающих от стены обоев отозвался резким спазмом в животе и ударил по нервам, застывшим в напряженном ожидании хоть какого-то сигнала извне. «Двадцать пять лет... Чего я жду?.. Манны небесной?.. Откуда эта бесконечная усталость?.. Сколько можно драться с ветряными мельницами, кожей чувствуя бессмысленность и неопределенность происходящего?.. Неужели это последний шанс?.. Все, что я заслужил?..»

Он приоткрыл глаза: большие, мутно-желтые квадраты света на стенах, темные силуэты полок, забитых книгами, уходящих к потолку, письменный стол, заваленный бумагами... »Что дали сотни книг, кроме почти полного неприятия всех их?.. Книги...» С горькой усмешкой он повернулся к окну. Луна светила в глаза, желтым пятном зависнув между ветвей деревьев.

Несколько минут он всматривался в мягкий отраженный свет, отрешенно думая, что завтра опять не избежать упреков матери в том, что спит по полдня и не работает. Попытался задуматься о чем-то еще – в голове всплыло лицо незнакомой девушки, увиденной в городе вечером. «Почему я?..» Он повернул голову от окна к стене. Мысль возвратилась опять. «Да пошли они все!..» Взгляд упал на лунный блик. «Улететь

бы сейчас туда, ко всем чертям от этих проблем... Отказаться?.. Что я еще умею?.. Да ничего ты не умеешь и никогда не умел...» словно чужой голос больно кольнул в самое уязвимое место, напомнив о разбитых мечтах и ожиданиях. «Что я скажу им?.. Да и что сказать, когда им одно только слово нужно...»

Он протянул руку, нащупал на столе пачку сигарет и зажигалку. Хотел прикурить, но ясно представил себе запах табачного перегара в комнате с утра, вздохнул и поднялся с кровати. «Надо форточку открыть...»

Старые доски пола жалобно заскрипели. Он недовольно поморщился. Мысль, что даже вещи противопоставляют себя ему, неотвязно преследовала в последнее время. Зажигалка не работала. Он пощелкал несколько раз, надеясь выбить искру. «Дерьмо...» Небрежно бросил сигарету на стол и вдруг, не выдержав, с размаха швырнул зажигалку об пол. Пластмассовый корпус с треском разлетелся на куски. Тело трясло мелкой дрожью. «Неужели я отсюда никогда не выберусь?..»

За окном лежал ночной двор. Черные силуэты деревьев, бесформенные очертания гаражей, согнутые, проржавевшие качели, как символ украденного временем детства, разбитая асфальтовая дорожка, изорванная колесами машин земля, глубокие колеи в грязи, пятна света – танцующие нереальные танцы с тенями под завывания ветра.

Сколько ночей провел он так, бесцельно бродя по городу или простаивая у окна в ожидании каждой новой весны, с жадностью вдыхая свежий, приторный запах обнажившейся после долгой зимы земли? «Но весна все-таки наступала, хотя каждый раз было страшно, что она могла так и не наступить...» Вспомнилась любимая фраза из Хемингуэя. Он грустно улыбнулся; слова чуть ли не впервые остались просто словами...

«Сейчас даже спрятаться за ними не получается... Почему я не могу отказаться?.. Последний шанс?.. Неужели я и вправду ни на что не способен?.. В этой стране даже проиграть достойно невозможно... Надо быть просто все время

в игре... Может потому и не могу отказаться, не начав даже заведомо проигрышную партию... Еще один шанс проиграть по-крупному... Последний раз... Что я еще могу сделать?.. Французский легион?.. Несколько лет... Счет в банке, французское гражданство... А в результате?.. Нет, это последний вариант... Если ничего больше не останется... Господи, что со мной сделала эта страна!..»

Дико хотелось курить – хоть чем-то успокоить расшатавшиеся нервы. Он вышел на кухню и, не включая света, на ощупь нашел спички. После пары затяжек исчезла дрожь в теле, и расслабились мышцы. «Ладно, – сигарета медленно тлела между пальцев, – черт с ними со всеми, может завтра что-то прояснится...»

Уже лежа в кровати, беспомощно цеплялся за незнакомое понравившееся лицо, опять неожиданно всплывшее в памяти, пытался дорисовать ускользнувшие при встрече детали, не сразу заметив параллельную мысль, постепенно заслонившую все остальное. Все еще глупо улыбаясь, вдруг почувствовал новый подвох. «...Сколько нужно денег, чтобы купить дом за границей?.. Тысяч сто?.. Или больше?.. Еще счет в банке... Человек пятнадцать – двадцать... Ч-черт, о чем я думаю?!»

Простыня сбилась в комок. Он поднялся, расправил ее и сел на кровать. Рука автоматически потянулась за сигаретами. «Где решение?.. Всего “да” или “нет”... Одно слово»... Механически покрутил пачку в руках и бросил на стол. «Одно слово... Как же я их всех ненавижу...»

Встал, подошел к стене, уперся в нее лбом и положил обе ладони на прохладную поверхность. Сон полностью ушел, оставив гнетущее ощущение надвигающегося утра. «Что я еще умею?.. Что?..» Резко отвел голову и с силой ударил о стену... Еще раз... И еще... с единственным желанием выбить само воспоминание о том предложении...

Перед глазами поплыл туман, колени противно задрожали, из рассеченного лба тонкой струйкой полилась кровь, пачкая обои. «Как же я вас ненавижу...» Чтобы не упасть, вцепился судорожно в подушку, сделал пару шагов и свалился на

кровать. Кровь заливала лицо, стекала по щекам на подушку. Он вытер ее рукой, поднес к глазам потемневшую, влажную ладонь и тихо засмеялся. «Позер... Легче стало?..» На глаза навернулись слезы. «Еще немного и я сорвусь...» Ныла шея, кровь мучительно ударяла в виски.

Он закрыл глаза и представил лицо вчерашней девушки. Отчего-то захотелось найти ее, отдать остатки нерастраченной нежности, почувствовать тепло чужого тела, вкус влажных и мягких губ... «Киллер...» Слово было как хрупкая игрушка – предмет зависти и восхищения друзей в детстве. «Детство, – он попытался усмехнуться; слабое движение отозвалось болью в голове. «Нечего даже вспомнить... Киллер... Господи, ну почему я?..»

...Большие, тяжелые капли дождя, тонкими струйками стекающие по спине... Мутный свет фонарей какой-то давно забытой улицы... Прозрачные лужи на сыром асфальте... Пузырящаяся, будто живая вода... Тишина и одиночество, если бы не дождь... Ветви берез, выступающие из темноты... Когда это было? В каком году?.. Мокрые волосы, пахнущие весной... Огромные серые глаза полные сомнения...

Где-то за стеной отвратительным металлическим лязгом отозвалась чужая жизнь. Не открывая глаз, он повернулся на другой бок, ожидая продолжения. В полудреме сам начал дорисовывать упущенные подробности, но сон не держался, постепенно тая, пока, наконец, не пришлось отказаться от безуспешных попыток...

Неосознанным жестом потянулся к столу, вытащил из пачки сигарету и засунул в рот. Ни зажигалки, ни спичек не было. «Ах, да... зажигалка... и спички на кухне...» Осторожно ощупал опухоль вокруг лопнувшей кожи. Засохшая корка крови, ушибленная кость... С каким-то безучастием, удивившим даже себя, подумал, что через пару дней все пройдет. «Шрам, наверно, останется... Да, ладно, бог с ним...» – раздраженно, перебивая собственную мысль вернулся к предложению, на долю секунды все же успев усомниться – не приснилось ли оно ему.

К чему он пришел? Чужие жизни, равные загнутым пальцам на руке... Нехитрая арифметика в уме. Чужие жизни... Шкура неубитого медведя... Что они значили, когда не было возможности устроить даже свою судьбу. «Потерянное поколение... Чему удивляться?... Каждый просто пытается выжить и в меру сил устроиться... Этика отдельного человека» – он растерянно усмехнулся – «И где? В стране, где общество предлагает единственное безальтернативное решение и само же наказывает за свою систему ценностей... Ценностей...» Сильно зажмурившись, он глубоко вдохнул и долго, пока не заболели глаза, вглядывался в расцветенную оранжевым черпоту.

Растерянные как-то незаметно друзья и перспективы, давно забытые мечты и амбиции... Где все это сейчас? Неужели все для того, чтобы остаться наедине с этим предложением в захлавленной комнате старого дома, наедине с тишиной и собственным страхом? Как ни крути, а выходило именно так...

Часто вечерами он одевался и уходил бродить по спящему городу, спасаясь от нестерпимого, почти физического ощущения удушья. Пожалуй, так было всегда, сколько он помнил себя... Потом была война, контузия... Зная, что обманывает себя, он все же продолжал считать началом всех психических и моральных срывов именно войну. Так было намного удобнее, по крайней мере, находилась точка отсчета, за которую можно было зацепиться, чтобы привязать к ней и неуравновешенность, и свои неудачи.

Война расколола сознание, сделав его тем, чем он был сейчас, сломала и из кусков собрала нового человека. От старой жизни – нереального книжного мира – осталась лишь лицемерная потребность обращаться к совести, как многолетняя привычка, с которой давно сжился и уже не обращаешь на нее внимания, и умение оправдывать любое действие рациональными причинами...

Ночь успокаивала почти полным отсутствием людей и тишиной. Огромный вымерший город. Появлялась даже иллюзия того, что не все еще потеряно.

Он улыбнулся, вспомнив, как месяц назад ходил по городу, засыпанному снегом. Нарочно шел не выбирая дороги, проваливаясь в сугробы, с наигранным усилием передвигая ноги. Оборачивался иногда посмотреть на собственные следы, двумя темными колеями выделявшимися в мягком свете фонарей... «Может на улицу выйти?..» Совсем неуверенно спросил себя, ожидая твердого отказа, заранее зная, что не пересилит себя, не сможет даже подняться с кровати... Лень.

Небо за окном серело все больше, селя в душе беспокойство и страх. «Что я еще могу?» Лежа, он прислушивался к воспоминаниям и ощущениям. Пытался воскресить в памяти безликие фигуры, встречавшиеся иногда на пустых улицах. Уже тогда он смотрел на них как на мишени... Ничего ни ужасающего, ни волнующего... Просто мишени...

«Какая разница, чем я займусь, если давно уже не нужен даже сам себе... Все равно кто-то получит эти деньги... Почему не я, в конце концов?.. Жизни... Смерти... А посередине я ... Год, два и все... И ради такой ерунды столько нервов... Смешно...» Потянулся было за сигаретой, но вспомнил, что нет спичек. «Ч-черт, а?.. Может монету подкинуть?.. Решка – нет, орел – да... И сразу позвонить, чтобы не успеть передумать?..»

Решение было настолько глупым и простым, что он заулыбался, предчувствуя, что найдутся тысячи оправданий и аргументов «за» и «против», что бы ни выпало.

«Что я еще умею?..» Первый раз мысль появилась как простая констатация факта, не напугав и не разозлив. Он посмотрел на оборванные местами обои, выцветшие вырезки из журналов на стенах, до которых не доходили руки снять, и устало прикрыл глаза. «Наверно, ничего...»

Не было ощущения чего-то аморального или внутреннего разлада в том, что все так быстро и просто определилось. Одновременно пропали страх и неуверенность.

И уже проваливаясь в сон, с удовлетворением и смутной, неокрепшей еще радостью по поводу принятого, наконец, решения подумал, что все-таки отыскал свою нишу в жизни,

пусть и не самую лучшую... «В конце концов, кто виноват, что в этой стране мне не нашлось другого места?..»

## Лабиринт

...Карманы были привычно пусты. Сырой ветер все так же дул в лицо, цепляясь за волосы, уже основательно отросшие. Денег на стрижку не было. Впрочем, и прикрывать голову ему никогда не нравилось. Он любил ветер, любил приходить домой основательно замерзшим, чтобы не оставалось ни мыслей, ни желаний. Уже с закрывающимися глазами чистил зубы и залезал под одеяло со смутной надеждой на следующий день... На каждый следующий день... И так изо дня в день...

Центр города был также сер, как и обычно зимой. И все же что-то иногда радовало даже в этой унылой, привычной серости. Люди, наверно, ожидание новой встречи, улыбки, быть может, – тоже неплохо...

И город, и страна выкачивали все силы. Дико хотелось куда-то уехать отсюда, но точного места в воображении не возникало. Попытки заработать, как всегда, были бесплодны. Усталость, когда еще нет и тридцати. Приходилось заставлять себя каждый новый день вставать, умываться и надеяться на что-то. Давно приходили мысли заработать один раз прилично, просто убив кого-нибудь, кто того стоит. Принципы, если и существовали когда-то, сейчас были не больше, чем набором пустых слов.

Что мешало? Найти того, кто сразу мог дать много и больше не требовать. Ему хотелось заработать только на спокойствии...

Отражением внешней жизни появилась привычка думать диалогами.

Так что мешало?.. Отсутствие моральных основ не тяготило. Не пугала ответственность или возможные моральные препятствия...

Просто не хотелось пачкаться... Хотя, было все же заманчиво. Всего один раз, чтобы не повторяться. Воли бы наверняка хватило.

Пачкаться не хотелось, но каждый день мысль возвращалась все настойчивей. Зачем именно убивать? Возвращаться к современному способу ведения дел не было ни желания, ни возможности. Бесплодные усилия надоели и не оправдывали себя. Время уходило...

Он давно уже убедился в том, что, по-настоящему, хороший враг – враг мертвый. Весь предыдущий, далеко не позитивный опыт был тому подтверждением. То, что кто-то мог стать врагом впоследствии не вызывало сомнения. Это были деньги, с которыми никто не шутил. Именно поэтому проще было закончить чем-то определенным. Раз и навсегда...

В последнее время, казалось, даже сны стали особенно пугающими. Хотя сравнивать было не с чем. Сколько он помнил себя, его всегда что-то тяготило, особенно во снах. И все же часто находилось что-нибудь, действительно, неплохое. Может, по сравнению плохого с еще более худшим?

Хотя, подчас происходило и вправду что-то успокаивающее: бывало, во снах он говорил по-английски. Радовала больше не отрешенность от этой жизни, а скорее, достижимость и ожидание нового...

И все же что-то останавливало? Привычная русская лень, неспособность начать дело? Пожалуй.

Даже возвращаться к себе в третьем лице уже становилось привычкой. Как удивился бы кто-нибудь, услышав его спокойные и циничные размышления о жизни и смерти. Смерти чужой, конечно. Хотя, он не боялся и своей. В чем была ценность жизни? И сколько она стоила? Да и стоила ли она чего-то в действительности? Сомнительно.

...Прочитанные книги поставили изрядный барьер в отношениях с окружающим миром. Перебираться с одной стороны на другую пришлось слишком долго. И сейчас он не знал точно, где находился. Сознание все еще было грудой разва-

лин. Хотя время, казалось, еще было... Просто не хотелось пачкаться...

...Это был уже второй день, как он наблюдал за людьми именно с этой целью. Все же он сумел пересилить себя. Что-то должно было произойти. Почему не это? В конце концов, он имел равные шансы и на успех, и неудачу. Неплохо для начала. Если учесть все, что возможно и оставить место для того, что учесть, в принципе, невозможно – досадных случайностей – шансы могли неимоверно вырасти. Скажем, один к десяти. Или даже выше... Одна никчемная жизнь на другую, вероятно, такую же никчемную, но прожитую с большим смыслом. Хотелось бы надеяться...

Неужели совершив преступление, он будет всю жизнь раскаиваться? По крайней мере, у него была возможность проверить... Хотя, вряд ли. Как раз то, что это сделано, чтобы никогда больше не произойти, и вызывало чувство уверенности в себе, даже гордости.

Впрочем, он не мучил себя моральными терзаниями вроде героев Достоевского. Мысли шли параллельно ему, не соприкасаясь с сутью обдуманного и решенного.

...Пятый? Шестой день? Он уже не считал. Да и отправной точки нигде не было. Просто восприятие поменяло угол. По-прежнему не тратя времени на обдумывание деталей, он наблюдал. Одно из немногих, чему он научился. Плюс терпение. Казалось этого уже было достаточно для начала. Жаль, что у него оно приняло такую искривленную с одной стороны и сомнительно-короткую с другой форму. Хотя, «жаль», наверно, не подходило – просто не хотелось пачкаться.

Люди, имеющие несколько тысяч долларов наличными сразу – валютчики, те, что покупали и продавали их. Десятки проходных персонажей в день, сотни в неделю, возможно, тысячи в месяц. Едва ли его лицо всплывет в этом бесконечном потоке. К тому же пара месяцев – достаточное время, чтобы его лицо затерялось на фоне других.

Приходилось ставить не на что-то в отдельности, а на все сразу, просчитывая даже неучтенные случайности.

Он нашел нужных людей и умел наблюдать. Идея не становилась навязчивой – жизнь текла также неторопливо и размеренно. Ожидание даже возможного провала не пугало. Все же он ставил на другое. То, что искать именно его не будут, он не сомневался. Он был гастролером, случайным, ни с кем не связанным человеком в этих кругах... Милиция перегружена подобным. Бандиты, если и найдутся такие, будут искать не того, кто сделал, а скорее того, кто начал тратить. В этом смысле он был спокоен.

Оставалось узнать с достоверностью до минут, когда деньги будут в карманах у того, на ком он остановился. Кроме периодического и систематического наблюдения ничего не оставалось. А ждать он умел...

В конце концов, это было просто очередное дело. Не лучше и не хуже любого другого. Еще один этап в жизни. И он пытался относиться к нему добросовестно. Одежда и обувь после всего, естественно, пойдут в огонь, поэтому выбрать нужно что-то нейтральное – что не будет выделяться на улице и что не жалко будет сжечь впоследствии. Еще то, что уйдет незамеченным из дома.

Он пытался подстраховать себя даже с этой стороны, зная, как давно забытое всплывает в самые неподходящие моменты, иногда спустя многие годы.

...Было что-то еще, в чем он не хотел себе признаваться, что подтолкнуло к окончательному решению. Он не любил возвращаться к этому, наперед зная, что пьянящее ощущение риска может проглотить его, не оставив места холодной и расчетливой логике. Ощущение прыжка в омут, не зная, вынырнешь или нет. До сих пор он выныривал. С большими или меньшими потерями.

По большому счету ему всегда везло. Точнее, – он просто не проигрывал. Пока не проигрывал – жизнь еще не сломала его. Или он сам был настолько силен, что не поддался ей? Он не

знал и даже не задумывался над этим, научившись относиться ко всему равнодушно. Наверно, оттого и чужая жизнь стала в один ряд с прочим, ничем не выделяясь на общем безликом фоне того, что проходило перед глазами.

...Привычные к деньгам пальцы моментально отсчитали нужную сумму, ощупали его одинокую двадцатку и выжидательно замерли.

Замерзшие руки неуклюже перекладывали купюры из одной стопки в другую... «Все в порядке?» Он кивнул, не глядя в глаза – не хотелось – боялся рассмеяться. Он уже представил себе контраст между ним, стоящим напротив, с бегающими глазами, и им же, мертвым, месяца через два. Да, деньги были здесь, в общем-то уже его. Осталось лишь подождать некоторое время.

Человек был уже мертв, даже не зная об этом. Все это напоминало детскую игру. Только масштабы были другие.

«Take care...» Он улыбнулся от неожиданной двусмысленности. «Что»? – не понял тот. – «Спасибо». – «А-а».

Он повернулся и пошел прочь. Что ж, часть уже была сделана. Оставалось ждать.

И все-таки ему определенно везло. Приходилось надеяться на случай. Это не было даже тактикой, просто ожидание. Можно было ждать годы и безуспешно. Но ему везло. Что-то их, действительно, связывало. Жизнь, наверно. Неожиданная мысль заставила улыбнуться.

Прошло больше двух недель с тех пор, как он разменял деньги. Сейчас они ехали в одной маршрутке. Странно, казалось, подобные типы должны иметь машины... Конечно, человек мог ехать и не домой, но после целого дня работы... Он улыбнулся опять. Работы... Хотя, то, чем он сейчас занимался, тоже было в некотором смысле работой.

...Обычно под вечер люди возвращаются домой... Они вышли на одной остановке, и он проводил его до подъезда. Второй этаж. Тот даже не обернулся. Что ж, по крайней мере, уже было от чего отталкиваться...

И все же изредка появлялось знакомое чувство неоправданности всего предприятия. В подобные моменты наваливались усталость и неуверенность, но ему удобнее было считать их минутами слабости, поэтому в такое время он просто направлял мысль в другое русло...

Он часто ловил себя на мысли, что постоянно необоснованно улыбается. Ему всегда было интересно, как это смотрелось со стороны. Глупо, вероятно. Впрочем, он давно уже отучился считаться с чужим мнением в таких мелочах.

...Ясно было, что деньги не сделают его счастливее, также как и богаче. Но что-то они все же принесут.

Просто это дело, как и любое другое, требовало логического завершения. Можно было поставить точку прямо сейчас, не продолжая ничего. Что тоже казалось решением. Но, достаточно однобоким, размышляя отвлеченно, тем, к чему все равно пришлось бы вернуться рано или поздно. Это было не проявление воли, а лишь попытка обосновать бездействие и трусость.

Нужны были определенность и твердое решение. Сейчас отступить – означало проиграть, даже не успев ничего начать.

Странный способ встать на ноги, хотя и далеко не новый.

Он позволял мыслям свободно бродить, не ограничивая их, зная, что все равно придется возвратиться к той же мертвой точке, с которой он начал несколько недель назад...

Он улыбался, наблюдая за знакомыми аргументами, но сейчас они были не больше, чем постоянным атрибутом внутреннего диалога – улыбка предназначалась не им, а принятому решению.

Становилось смешно от оправданий и доводов, приводимых себе же. Все свое внимание он фокусировал на себе, не будучи эгоистом. Выглядело все это, наверняка, забавно, хотя он прекрасно знал собственные перепады настроения и уже давно не удивлялся.

Хотелось, пусть ненадолго, воспитать в себе искусственную злость, расставшись с близкими людьми, так, чтобы вне

его не осталось резервов, на которые можно было бы положиться. Еще, пожалуй, чтобы не испытывать ни сожаления, ни жалости к себе. Прошлое перечеркивалось только ради настоящего, хотя за свое будущее он не дал бы сейчас и ломаного гроша.

Было, наверно, еще подсознательное наслаждение причиняемыми себе страданиями. Но на потворство ему не было ни времени, ни желания.

Любое решение несло в себе ошибку, сейчас или позже, каким-то образом отражаясь на окружающих. Значит, критерий был в самом поступке и его последствиях, поскольку безошибочно только бездействие... Хотя, нет, бездействие еще более ошибочно. Кроме того, рождает сожаления и неудовлетворенность...

Уже не сдерживаясь, он весело засмеялся. Он опять возвращался к тому, с чего начинал. Верно было только собственное решение, однажды принятое и несгибаемое. Была еще этическая сторона, по сути, еще более эфемерная, чем все остальное. Но к ней он даже не обращался...

Много раз он размышлял об оружии, но поначалу к чему-то определенному так и не пришел. Удобнее всего был пистолет, но денег на него не было. К тому же протянулась бы еще одна нить между ним и убийством. Пусть предполагаемая, но принимать решения и учитывать случайности нужно было сразу, чтобы не возвращаться к ним впоследствии... Оставался нож. Близость контакта не пугала – крови он не боялся.

Достать нож необходимо было в том месте, с которым его не связывало абсолютно ничего, даже случайное знакомство. Все-таки время у него еще было.

И здесь ему опять повезло. Хотя, возможно, он все отдавал делу, и оно платило ему тем же. Впрочем, вероятнее всего, он был настроен на определенную волну, и мысль была нацелена на то, в чем он больше всего нуждался...

В столовой, куда он зашел поесть, продавец оставил на прилавке большой разделочный нож. Вместе с блюдами он

положил его на поднос, сдвинул тарелки и сел за стол. Никто ничего не заметил.

Пусть медленно, но все шло к завершению. Без малейших пока затруднений. Он знал, что масса непредвиденного произойдет именно в последний момент, а также позже. И все же отсутствие отрицательных факторов отчасти пугало. Все было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.

Часами – гуляя или лежа на кровати – он обдумывал решающие мгновения, находя неточности в своих действиях и предыдущих расчетах.

Карманы должны быть пусты, ботинки на шнурках и одежда без пуговиц. Нож привязан к предплечью. Скорее всего, придется войти в квартиру, но начнется все еще на лестнице. Предположительно, в квартире будет один человек. Если же квартира будет не пуста, тогда придется подчищать все на месте...

Предположительно никто не хватится человека до утра и, тем не менее, нужно будет покинуть квартиру через десять-двенадцать минут. Достаточно, чтобы взять деньги и проверить, не осталось ли улик. Если денег окажется много, изрядную часть придется оставить.

Впрочем, всех улик все равно не избежать – само преступление уже было уликой. Если же его трюк с деньгами поймут, по крайней мере, он выиграет некоторое время. Нож надо взять с собой – где-нибудь по дороге воткнет глубоко в землю. Кроме того, далеко нужно будет уйти пешком, потом, по меньшей мере, поменять четыре-пять машин и, наконец, домой опять идти пешком. Достаточно близко к дому и достаточно далеко от последнего места контакта с людьми, непосредственно после убийства...

Он произносил это слово десятки раз, так, что пугающее изначально значение пропало, оставив по себе просто набор звуков...

...Оставалось два дня. Немного нервничая, как и перед каждым новым делом, он был готов. Где-то наверняка оставались слабые места: всего учесть просто невозможно. И все-

таки он был готов... Он опять подстраивал окружающее под себя, а не наоборот. Слова несущие отрицательный оттенок, повторяемые до бесконечности, изменяли значение или вообще теряли его. А с потерей значения исчезало и все, стоящее за словом. Но результат получался как раз тем, чего он желал: слова и значение сливались в одной точке, оставаясь звуками и ничем больше...

...Он шел по ночному городу, улыбаясь тишине и мутно-желтому свету фонарей. Сил оставалось все меньше. «Только бы дойти до дома».

...Парень оказался не промах. Но он опять выиграл, как выигрывал всегда. Он просто не мог позволить себе проиграть. В карманах лежали деньги. Первый раз он имел столько сразу. Отчего-то сейчас это не радовало. Он посмотрел на руку. Ладонь была в крови...

Глубокая рана в боку отвратительно ныла... «Да, – он тоскливо улыбнулся, – жизнь отнимает слишком много времени...»

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Георгий Полуэктов

**Последние залпы**

*Знакомство с Георгием Васильевичем Полуэктовым произошло во время съемок фильма о Пятой гвардейской армии. Генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза, он почему-то однажды доверительно поделился со мной тем, как тяготит его отсутствие какого-то серьезного дела после выхода в отставку. Я дал совет писать мемуары: ведь интересно же будет читателям узнать, как крестьянский сын из подмосковной деревни стал генералом и ученым. Последняя должность Полуэктова – начальник Артиллерийской академии. А до того он был заместителем главкома сухопутных войск Советской Армии. Георгий Васильевич на это только рукой махнул: «Сколько уж их накропал наш брат-военный?..»*

*Через пять лет Полуэктов позвонил: «Приезжайте, Павел Семенович, пожалуйста, вы меня подбили – вам и оценивать, что получилось...»*

*Встретились. Георгий Васильевич передал пухлую пачку исписанных от руки страниц. Текст тянул на книгу, правдивую книгу человека, который связал свою жизнь с армией и прошел Великую войну от звонка до звонка. Требовался, конечно, редактор, и Полуэктов попросил, чтобы им стал я.*

*Я сдал рукопись в Воениздат уже после неожиданной смерти Георгия Васильевича в восемьдесят втором году. А вскоре*

*умер и сын генерала Юрий Георгиевич, прошедший фронтовыми дорогами вместе с отцом от Сталинграда до Праги. Так я остался единственным душеприказчиком героя войны.*

*Издательство вернуло манускрипт с отрицательной рецензией. В ней утверждалось, что полуэктовская трактовка ряда событий Великой Отечественной войны противоречит принятой в советской историографии, а поскольку автор ушел из жизни, то и поправки вносить, дескать, некому...*

*Мне ничего другого не оставалось, как печатать книгу Полуэктова частями в периодике. «Новый мир» и «Дружба народов» в восемьдесят третьем году опубликовали главы о Сталинградской и Курской битвах; выходящий в Молдавии русский журнал «Кодры» через два года – о Яско-Кишиневской операции, «Воин России» уже в постсоветское время – о трагическом исходе сражения под Керчью и Феодосией в конце сорок первого и начале сорок второго года...*

*Предлагаемые страницы – завершающие в книге.*

*Павел Сиркес.*

В начале апреля сорок пятого года нас с командармом Алексеем Семеновичем Жадовым вызвал к себе командующий фронтом Маршал Советского Союза Иван Семенович Конев.

– Гитлеровское руководство для защиты Берлина выставит все наличные силы. – Такими словами начал совещание маршал. – Это позволит создать многополосную оборону вдоль западных берегов Одера, Нейсе и Шпрее. Как построить артподготовку, чтобы прорваться к этим рекам и форсировать их с наименьшими потерями? – Он обвел присутствующих своим строгим взглядом и остановил его на мне. – Генерал Полуэктов, Пятая гвардейская армия будет действовать на главном направлении...Доложите ваши соображения.

У меня с некоторых пор вызревала дерзкая идея, и я решил высказать ее:

– Боеприпасов у нас с избытком. Форсировать надо, не прекращая артиллерийскую подготовку, а перенося ее во вторые и третьи эшелоны вражеской обороны.

– Неплохая мысль, – поддержал меня Жадов.

– Так и действовать! – приказал Конев.

Десятого апреля соединения армии сосредоточились на новом направлении. Я вместе с командующими артиллерией Тридцать второго и Тридцать четвертого стрелковых корпусов сразу же приступил к рекогносцировке переднего края фашистов, который проходил непосредственно по Нейсе.

Обзор затрудняла лесная чаща. Пришлось строить среди деревьев наблюдательные вышки. Наши офицеры дежурили на них круглосуточно. В выявлении целей и определении их координат нам помогали и самолеты-разведчики Второй воздушной армии. Даже стодесятиметровая труба химзавода, которую враг почему-то не взорвал при отступлении, послужила нам наблюдательным пунктом. Самое высокое в округе сооружение, она доминировала над местностью. Отсюда почти на всю глубину просматривались немецкие позиции.

Внутри трубы артиллеристы соорудили пару десятков мостков, соединенных переходными лестницами. Верхний из мостков был диаметром в восемь метров и располагался у самого края трубного жерла. Дальномерщики и связисты укрывались при обстрелах за мощной кирпичной кладкой.

Противник, конечно же, сообразил, как мы используем трубу, и пытался ее уничтожить. Но поразить столь узкую цель ему так и не удалось...

Мы с командиром Седьмого артиллерийского корпуса прорыва генералом Корольковым не устояли перед соблазном обозреть более чем со стометровой отметки поле предстоящего боя и тоже решили подняться на высотный наблюдательный пункт. Сквозь лаз у основания трубы тучный мой товарищ протиснулся с натугой, а когда преодолевали наспех сколоченные лестницы, я, двигаясь первым, ощущал, что они вибрируют под его весом. Чем выше взбирались, тем менее надежной казалась многоярусная конструкция.

Вот мы, наконец, достигли места, где разведчики продолбили в кладке несколько смотровых щелей, приставив к ним объективы своих стереоприборов. С их помощью боевые порядки противника были видны, как на ладони.

Чтобы полнее использовать преимущества нашего импровизированного наблюдательного пункта, который мы для конспирации назвали «Этажеркой», я приказал установить здесь же шестиметровый дальномер. И скоро в штаб артиллерии армии начали поступать данные о новых, разведанных, благодаря его возможностям, целях. Сведения накапливались столь быстро, что уже через два дня были готовы и план артподготовки и расчет необходимой для нее огневой мощи.

Алексей Семенович Жадов также пожелал увидеть с «Этажерки» просторы, где предстояло вести битву за Берлин Пятой гвардейской. На верхней площадке работало до пятнадцати артиллеристов различных специальностей. Дальномерщики четко докладывали характеристики вновь обнаруженных целей. Телефонисты тотчас передавали в штаб свежую информацию.

– Как живете-можете в поднебесье, служители бога войны? – обратился командарм к дружно приветствовавшим его артиллеристам, обыгрывая известное определение нашего рода войск.

– Жить можно, товарищ генерал, – ответил за всех взводный разведчиков. – Сначала было тошно – наблюдательный пункт и качается, а потом привыкли... Правда, страшно, когда фашист бомбит, хотя свои истребители и зенитки воли ему не дают.

Жадов подошел к стереотрубе и стал всматриваться в оборонительные рубежи противника. Я стоял рядом у такого же прибора, и мне уже не в первый раз открывалось то же, что и Алексею Семеновичу. В траншеях переднего края можно было различить даже фигуры вражеских солдат. Да и маскировка не могла скрыть от опытного наблюдателя таящиеся за ней огневые точки.

Командующий армией остался доволен рекогносцировкой. Обычно скупой на похвалы, он весьма одобрительно отозвался о находчивости моих подчиненных не только приспособивших случайно уцелевшее на плацдарме заводское сооружение для скрупулезного изучения поля предстоящей операции, но и в период кажущегося затишья самоотверженно и с риском для жизни выполняющих свой боевой долг.

Наконец из штаба Конева поступил график артиллерийского наступления фронта. По этому графику главным силам первого эшелона Пятой гвардейской предписывалось форсировать реку Нейсе во время артподготовки. Полное совпадение с тем, что я предлагал на последнем совещании у маршала, признаться, вызвало у меня чувство удовлетворения.

Теперь можно было составлять и свой план артиллерийской подготовки битвы за Берлин.

Мы наметили три ее периода. Первый, сорокаминутный, должен был создать проходы для наступающих соединений, которым предстояло переправиться через Нейсе. Он включал внезапный и мощный огневой налет всеми средствами артиллерии, рассчитанный на подавление живой силы в опорных пунктах и противотанковых районах передней полосы вражеской обороны, командных и наблюдательных пунктов, уничтожение прямой наводкой огневых средств, инженерных сооружений и каменных построек, приспособленных к защите.

Второй, шестидесятиминутный, обеспечивал само форсирование реки и вывод первого эшелона армии на исходный рубеж для наступления с противоположного, западного берега Нейсе, когда вся артиллерия продолжит подавлять прежние и вновь обнаруживаемые цели, выявляемые тактические резервы, уничтожать ожившие и вновь открытые огневые средства в ближайшей тактической глубине.

Третий, сорокапятиминутный, являлся подготовкой на запад от реки. Тут артиллерия подавляла ожившие и вновь разведанные артиллерийские и минометные батареи, живую силу в опорных пунктах и в противотанковых районах всей

первой полосы обороны, а прямой наводкой уничтожала вновь выявленные и уцелевшие огневые средства в атакуемых опорных пунктах.

Затем артподготовка без паузы и снижения темпа стрельбы переходила в десятиминутную поддержку наступления огневым валом, а в дальнейшем – сопровождала наступающих последовательно сосредоточенным огнем.

Столь своеобразный график, утвержденный Коневым, и форсирование Нейсе в ходе его осуществления можно было выполнить, лишь имея мощные артиллерийские группы, а значит надо было привлечь и артиллерию второго эшелона армии и приданных ей Четвертого гвардейского танкового корпуса и Четвертой гвардейской танковой армии, также вводимой в прорыв в нашей полосе наступления.

В корпусах огневые группы не создавались. Зато те, которыми располагали дивизии первого эшелона, были настолько сильны, что могли самостоятельно обеспечить боевые действия при прорыве обороны на всю ее тактическую глубину.

Неспециалисту приводимые мною профессиональные подробности, возможно, покажутся малоинтересными. Мы же заботились об одном – вернее сохранить людей. Потому-то командование армии приняло все меры, чтобы на направлении главного удара максимально была использована артиллерия. Нам удалось создать здесь небывало высокую плотность огня.

Первый Украинский сосредоточил до двухсотсемидесяти орудий, минометов и реактивных установок на километр фронта.

К четырнадцатому апреля титанический труд по артиллерийскому обеспечению операции был, в основном, завершен. И рано утром шестнадцатого я доложил военному совету армии о полной готовности артиллерии к битве. Командарм Жадов предупредил, что артподготовка должна начаться точно в назначенное время.

Мы сверили часы. Теперь мне надлежало срочно выехать на свой наблюдательный пункт – деревянную вышку, ко-

торая лишь слегка возвышалась над кромкой леса. Так уж случилось, что впервые после Сталинградской битвы нам с Алексеем Семеновичем предстояло во время сражения находиться не рядом, а в разных местах.

Добрался до вышки. Буквально взбежал на нее. Отсюда почти так же, как с трубы, хорошо видны и Нейсе и вражеский передний край. И если учесть, что мои офицеры из штаба артиллерии, расположившиеся непосредственно в трубе, постоянно докладывали обстановку по телефону, а по соседству работали корректировщики армейской группы генерала Волькенштейна, чьи поправки постоянно вводились нами в огневые данные, то руководства боевыми действиями следовало ждать чрезвычайно эффективного.

Вот и настал момент для команды: «Ровно огонь!» – значит, в шесть часов пятнадцать минут снаряды и мины наших батарей должны ударить по целям. И я отдал эту команду, возлагая большие надежды на внезапность первого залпа. Так было всегда.

Ожидания сбылись и на сей раз. Все вокруг грохотало. Над головой с ревом пролетали тысячи снарядов и мин. А на той стороне, за Нейсе, с еще большей силой громыхали разрывы. Гигантские фугасы буквально оглушали...

Артподготовка велась по полосе, где было намечено проломить брешь во вражеской обороне. По участку шириной в шесть километров в максимальном темпе стреляло свыше полторы тысячи орудий, минометов и реактивных установок. Одновременно передний край фашистов «обрабатывали» бомбардировщики и штурмовики Второй воздушной армии.

К концу войны мы хорошо научились обеспечивать форсирование водных преград. На многотрудном пути к Победе, конечно же, часто попадались и более солидные реки, чем пятидесятиметровая Нейсе. Здесь, однако, сложность состояла в том, что переправляться следовало в ходе самой артподготовки, во втором ее периоде, и при сплошном задымлении, потому что уже через сорок минут наши солдаты зажгли

дымовые шашки, а летчики занавесили русло густой, словно непроницаемый туман, пеленой.

Как и ожидалось, с началом второго периода артподготовки, и при сильном задымлении войска успешно произвели спуск на воду десантных переправочных средств, навели штурмовые мостики, а вскоре – и несколько переправ для артиллерии.

Оправдала ли себя в данном случае дымовая завеса? На мой взгляд, при плотности артиллерийского обеспечения нужды в ней не было. Наш огонь и так надежно поддерживал и переправу и расширение плацдарма. Плотность стрельбы на переднем крае была высокой, и его в прямом смысле парализовало. Артиллеристам же завеса мешала оценивать результаты своей стрельбы, следить за перемещениями войск, выходявших на западный берег.

В особенно невыгодном положении оказались батареи на прямой наводке: они не видели целей. В сплошном задымлении расчеты были вынуждены вести огонь на ранее пристрелянных установках прицела и угломера не без риска поразить наши пехоту и танки, а это недопустимо! И нет для нас горше трагедии, чем та, когда, по слову поэта, «артиллерия бьет по своим»...

В ходе второго периода артподготовки полки дивизий первого эшелона, располагающие собственными артиллерийскими группами, преодолев небольшое сопротивление врага, переправились на западный берег, расширили плацдарм и заняли исходный рубеж для дальнейшего наступления.

В то же время командиры частей и групп, основываясь на свежих данных разведки, корректировали план огня следующего периода. Этот третий период, как и десятиминутная поддержка движения вперед огневым валом, ни разу не дали сбоев.

Противник предпринял попытку остановить нас в глубине первой оборонительной полосы, контратакуя резервом из танковых дивизий «Охрана фюрера» и «Богемия». За рекой развернулись жестокие бои, но и здесь огневое превосходство нашей артиллерии решило исход дела.

Успехи армии, разумеется, зависели и от искусства инженерных войск. Семь мостов они навели всего за три часа.

К концу первого дня операции гвардейские стрелковые корпуса прорвали первую полосу немецкой обороны и подошли ко второй, продвинувшись на десять-двенадцать километров. Но ввести в сражение Четвертую гвардейскую танковую армию нам все же не удалось...

Хочу особо отметить: во второй половине дня артиллерия армии уже находилась на западном берегу Нейсе. Открылась возможность использовать массированный огонь и при прорыве второй оборонительной полосы. Начало было положено. Главные же испытания ждали нас впереди, потому что враг не потерял боеспособности и располагал оперативными резервами.

Дорого было каждое мгновение. Среди ночи я выехал на наблюдательный пункт командира Седьмого артиллерийского корпуса прорыва генерала Королькова. Туда же вызвал и командира армейской артгруппы генерала Волькенштейна и командующих артиллерией корпусов полковников Ципелева и Дубова. Цель экстренного совещания – совместными усилиями создать условия для успешных действий простаивающей Четвертой гвардейской танковой. Светлым временем мы не располагали, и потому решили: основные опорные и противотанковые районы будем взламывать массированным огнем артиллерии немедленно, используя елико возможно, и ночную авиацию.

Утром семнадцатого апреля – снова мощная, хотя и короткая артподготовка, опять удары с воздуха, и армия продолжает наступление.

Противник бросает в бой все ту же танковую дивизию «Охрана фюрера», уже изрядно потрепанную, но еще сохранившую изрядный потенциал, а также танкоистребительную бригаду и запасной полк мотопехоты. Части Пятой гвардейской ввязались в кровопролитные схватки за населенные пункты Черниц, Вольфсхайм и Гросс-Дюбен. Продвижение несколько замедлилось, однако мы упорно и настойчиво

сметали противостоящего противника. Наибольшего успеха тут добились воины прославленного корпуса дважды Героя Советского Союза генерала Александра Ильича Родимцева. Захватив Черниц, они открыли путь на Шпремберг.

Фашисты, занимающие вторую полосу обороны, были деморализованы. Гвардейцы смяли их боевые порядки. Теперь Четвертая танковая армия могла быть введена в сражение.

Как ни странно, обеспечивая действия танкистов, мы не были осведомлены об их оперативно-стратегической задаче. Лишь потом стало известно, что Верховный решил незамедлительно использовать обстановку, неожиданно сложившуюся на участках, и приказал командующему Первым Украинским фронтом в ночь на восемнадцатое апреля развить наступление, чтобы, стремительно нанеся удар по германской столице с юга и обойдя ее с юго-запада, во взаимодействии с Первым Белорусским Маршала Советского Союза Жукова окружить берлинскую группировку фашистских войск.

Между тем, на последней – третьей линии обороны гитлеровское командование пыталось остановить нас любой ценой.

И без того напряженная обстановка в полосе Пятой гвардейской армии приобрела еще большую остроту. Враг контратаковал и днем и ночью. Наша артиллерия, постоянно прибегая к массированному огню, успешно отражала натиск. Был захвачен ряд опорных пунетов на подступах к Шпрембергу и реке Шпрее. Но в город ворваться не удалось: танковые дивизии «Охрана фюрера» и десятая СС, оседлав заранее подготовленные рубежи, дрались насмерть.

Все же к утру восемнадцатого апреля мы вышли к Шпрее и с ходу ее форсировали. К концу дня продвижение армии составило шестнадцать-семнадцать километров.

Новая задача, поставленная Пятой гвардейской, состояла в том, чтобы, оберегая фронт от флангового удара с юга, наступать навстречу союзным американским соединениям и сойтись с ними на Эльбе. Но прежде нам надлежало ликвидировать Шпрембергскую группировку.

Тяжело дался армии прорыв вражеской многополосной обороны в лесных массивах. И здесь, как всегда, отличились гвардейцы Родимцева.

Девятнадцатого апреля к нам прибыл командующий фронтом Конев. Мы в деталях обсудили план действий на следующий день.

Утро двадцатого. Напряженное ожидание было прервано тридцатиминутной артподготовкой. Отбомбилась-отстрелялась и авиация. Вот тогда-то ударил гвардейский корпус генерала Лебедева, прежде находившийся во втором эшелоне армии.

Штурм Шпремберга начался. За несколько часов мы овладели городом и продвинулись почти на шесть километров к западу. Через два дня все силы противника в полосе Пятой гвардейской были разбиты.

«Людей беречь, а боеприпасов не жалеть!» – это стало нашим правилом в последних сражениях. Жаль, что такая установка получила одобрение в верхах только к концу войны... Иначе наши людские потери многократно не превышали бы германские.

Но не буду лукавить. Новый подход сделался реальным лишь благодаря выросшим техническим возможностям.

Участок боевых действий стал уже. Поэтому мы сумели надежно прикрыть левый фланг и быстро захватить эльбинский плацдарм. Благодаря вновь открывшимся возможностям, главные силы армии преодолели за сутки от тридцати до сорока километров и вышли на приэльбском рубеже в район Эльштер-Преттин-Торгау-Риза.

Здесь, у Торгау, двадцать пятого апреля сорок пятого года подразделения Пятьдесят восьмой гвардейской стрелковой дивизии нашей армии и встретились с частями пехотной дивизии Первой американской армии под командованием генерала Ходжеса.

Сколько лет минуло после того памятного события! Для меня же оно – точно вчера случилось... В Торгау состоялся прием в честь союзников. Началось с официальной процедуры отдания воинских почестей.

Затем хозяева и гости сошлись в большом банкетном зале, где охотно познакомились, обменивались фронтовыми впечатлениями. За столом рядом со мной усадили командующего артиллерией Первой армии США генерала Харта. Его приятное лицо излучало доброжелательность. Харт восхищался мужеством советских людей, проявленным особенно в битвах за Москву и Сталинград. Когда выпили по первой, американский коллега показал мне фотографии жены и дочерей. При этом у него даже повлажнели глаза : должно быть, Харт не меньше меня соскучился по своим близким...

Среди прочих я услышал от Харта и такой вопрос:

– Скажите, генерал, насколько, с вашей точки зрения, для советских вооруженных сил были существенны поставки американской арттехники и боеприпасов к ней?

– Буду вполне откровенен, – ответил я, – за всю войну, а участвовать в боях довелось с первого дня, в находившихся под моим командованием частях и соединениях ни разу не использовались какие-либо виды артиллерии или боеприпасов иностранного производства. Лишь однажды, в сорок третьем году, мы получили легковые и грузовые вездеходы США. Это, конечно, повысило маневренность нашего рода войск – тем помощь и ограничилась. Можете посетить любую, на выбор, часть – и сами убедитесь, что так оно и есть до сих пор.

Генерал поблагодарил за приглашение и добавил, что, к сожалению, из-за недостатка времени не воспользуется им.

...После Второй мировой при въезде в Торгау, где произошла историческая встреча, был поставленobelisk.

...До окончательной Победы был сделан, казалось, последний рывок. Выполнив с честью задачу, поставленную ей в берлинской операции, Пятая гвардейская способствовала падению германской столицы. Она капитулировала второго мая.

Но, так называемая группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шернера, отказалась сложить оружие. По замыслу руководства группы, та должна была

всеми мерами удерживать Чехословакию, прикрывая отход фашистов на запад. Очевидно, сдача в плен американцам и англичанам представлялась гитлеровцам грозящей меньшими карами...

Чехи и словаки активно сопротивлялись оккупантам. В Праге шла спешная подготовка к вооруженному восстанию.

Позиция союзников в чехословацком вопросе была выражена в послании Черчилля новому президенту Трумэну: «Почти нет сомнения, что освобождение нашими войсками Праги и возможно большей части территории Западной Чехословакии полностью изменит послевоенное положение в этой стране и к тому же повлияет на ее соседей».

Сталин, конечно, не мог тогда знать о сих откровениях английского лидера, однако, и у него был свой план – опередить наступающие союзные войска. Да и восставшую красавицу Прагу надо было спасти от разрушения, обезвредив группу армий «Центр» рядом стремительных ударов Украинских фронтов.

Получив приказ маршала Конева наступать на Прагу и овладеть ею, командующий Пятой гвардейской генерал Жадов предпринял перестроение войск нашей армии всего в течение двух ночей. Артиллерия усиления вóвремя вышла в районы боевых порядков. У нас было восьмикратное огневое превосходство над противником, чего не случилось никогда прежде. И хотя данных о вражеской обороне у нас было явно недостаточно, мы, полагаясь на указанное преимущество, уверенно занимали исходные рубежи.

Путь к Праге преграждал Дрезден. Нанося основной удар северо-западнее саксонской столицы, мы знали, что еще совсем недавно, в феврале, город подвергся налетам двух тысяч английских и американских бомбардировщиков. Целый день тяжелые самолеты, следуя эшелонами друг за другом через короткие промежутки времени, сбрасывали на центр и железнодорожный узел неумолимую смерть. Не спасали ни убежища, ни подвалы. Под руинами погибло более тридцати тысячи мирных жителей. И делалось это лишь для устрашения. Да еще, наверно, в знак возмездия за Орадур и Ковентри...

Шестого мая в девять вечера Пятая гвардейская залпами реактивных установок начала мощную артподготовку. Передний край – ближайšie линии обороны противника были накрыты огнем, темп стрельбы все возрастал. Поспевая за огненным валом «катюш», в бой двинулись танки и пехота.

Сперва гитлеровцы сопротивлялись, но, не выдержав нашего напора, под прикрытием танковых колонн попятнулись в сторону Дрездена и Рудных гор.

Накат гвардейцев был таким неудержимым, что к рассвету седьмого мая армия продвинулась более чем на двенадцать километров и захватила двадцать населенных пунктов. А ранним утром в прорыв ринулся Четвертый танковый корпус, который и устремился к Дрездену.

На дальних и ближних подступах к городу танкисты, действуя вместе с соединениями Родимцева, натолкнулись на сильно укрепленные опорные пункты врага: врытые в землю танки, хорошо оборудованные эскарпы для противотанковых пушек, приспособленные для круговой обороны различные сооружения. Чтобы сохранить людей, мы выдвинули на подмогу две артдивизии прорыва и все имевшиеся в нашем распоряжении реактивные установки.

Командарм Жадов колебался: открывать ли огонь. Он помнил, что перед нами – хоть и разрушенный, но знаменитый центр европейской культуры, где, быть может, все же сохранился целым и невредимым прославленный музей Цвингер с известной во всем мире бесценной коллекцией произведений искусства. «Нет, попробуем объявить дрезденскому гарнизону ультиматум о сдаче без боя», решает Алексей Семенович.

Выходят парламентарии с белым флагом, чтобы передать требование безоговорочной капитуляции. Фашисты пресекают их попытку шквальной стрельбой. Теперь лишь наша мощь могла сломить упорствующего врага. Однако, и ударив по городу, мы старались щадить исторические памятники, местами уцелевшие после февральской бомбардировки.

Между тем главные силы Пятой гвардейской нескончаемыми колоннами приближались к восставшей чехословацкой

столице. Прага нуждалась в срочной помощи. Даже власовцы из славянской солидарности или в надежде заслужить тем прощение перешли на сторону воюющих пражан.

Мы спешили на выручку к чехам, ликвидируя и разоружая по пути разрозненные остатки фашистских войск, продолжали сражаться с ними на Влтаве и после того, как радио девятого мая сообщило, что в берлинском предместье Карлсхорст был подписан акт, в котором германское верховное командование признало поражение своей страны и приказало всем вооруженным немецким формированиям, а также находившимся в его подчинении формированиям сателлитов на суше, на море и в воздухе прекратить сопротивление.

...Обгоняя одну из армейских колонн, я поравнялся с машиной командира Тридцать второго гвардейского корпуса Александра Ильича Родимцева, с которым шли вместе от Волги до Влтавы. Остановились. Пожали друг другу руки. В наступившей вдруг тишине мы различили радиопозывные Москвы. Они предшествовали победному приказу Верховного, который торжественно начал зачитывать Юрий Левитан.

Слушали молча, затаив дыхание. Потом Родимцев порывисто обнял меня. На глазах у него были слезы. Расчувствовался и я. А кругом разразился стихийный салют. Палили из личного оружия, из ракетниц, палили на ходу, не замедляя движения...

Лишь на другое утро, десятого мая, армия встала между городами Кларупы, Мельник и Литомержице.

Для нас Великая Отечественная война продолжалась на сутки дольше, чем для всех – тысяча четыреста девятнадцать дней и ночей.

Виктор Кузнецов

### «Нет повести печальнее на свете...»

По пыльной дороге навстречу подпрыгивающей полуторке несется ватага чумазных ребятишек. Для взрослых – это дети местных узбеков, казахов и эвакуированных из европейской России, с Кубани, с Украины. Мы же делимся по силе, росту, ловкости, умению отличить «студебеккер» от «ЗИСа», сержанта от старшины, танк от тягача или танкетки, «ястребок» от «кукурузника». А вовсе не по тому, как оказались наши матери в маленьком поселке Головной Узел при электростанции на реке Чирчик – на границе между Узбекистаном и Казахстаном.

...В родильном отделении поселковой больницы – в той самой палате, где получили койку и мы с мамой, – умерла молодая женщина, из эвакуированных. И акушерка-узбечка, муж которой тоже воевал тогда, многодетная – как большинство женщин ее народа, забрала новорожденного в свою семью.

В войну роженицы умирали чаще, чем сегодня. Пенициллина еще не было, белого стрептоцида тоже. А красный, токсичный, был дефицитен – как и сульфидин. Об истощении – физическом и нервном – говорить не приходится. Не раз выносили из барака окоченевшие женские тела.

Ум и сердце многодетной узбечки и на миг не усомнились в том, что орудие сморщенные комочки – ее дети. Хотя появились они на свет от русских, украинок, евреек или казашек.

И она делилась с приемными всем: ложкой каши, каплей молока, а когда подрастали – куском жмыха или лепешки. Потеснив родных детей и стариков-родителей, поделилась кровом – в своей «однокомнатной» глинобитной кибитке.

Но не только осиротевших детей подбирали в Головном Узле. Забирали и малышей, имевших родителей. Не знаю точно, сколько ребятишек пропало там за все годы лихолетья – сколько мальчиков и сколько девочек, сколько годовалых и сколько двухлеток.

Мама, привязывавшая меня под окном своего амбулаторного кабинета, до конца дней своих не забыла тогдашнего страха. Органы НКВД, «обезвредившие» столько «агентов», «наймитов», «вредителей», тут оказались беспомощными. И в нашем поселке, и в соседних дети продолжали исчезать. Пока кто-то случайно не обнаружил в начинке пирожка с ливером крошечный розовый ноготок. Куплен пирожок был у двух бойких торговков – матери и дочери, прибывших в Головной с первой партией эвакуированных. И надкушен прямо на улице...

Поселок походил до этого на единую дружную семью – общие тяготы сплачивают. Жили, доверяя друг другу во всем. И радости, и беды были общими. Теперь все рухнуло. Водитель полуторки дедушка Карим больше не катал нас. Медсестра Полина Бордунова прекратила читать вслух книгу «Два капитана». Санитарка Урие Бекирова больше не раздавала сладкие шарики патоки и не рассказывала чарующую сказку про заколдованного принца Зигфрида. Хотя еще на днях так похоже изображала лебедей Одетту и Одилию. Санитаркой она стала недавно – в родном Симферополе была примой-балериной...

Только всеобщее ликование девятого мая сорок пятого года вновь объединило людей. Но уже ненадолго: одни вернулись к себе в Воронеж или на Кубань, другие – перебрались в Алмалык, в Газалкент, в Чирчик: туда, где появилась работа.

Отец, вернувшись с фронта, работал военврачом в лагере военнопленных – в соседнем поселке Верхнекомсомольский.

В сумерках к нашему бараку подъезжали два всадника: отец и сопровождавший его санитар-японец. Пленный тут же уезжал, отцова лошадь трусила за ним на привязи.

За поселком у рожицы тутовых деревьев вращались в землю танкетки, прибывшие на ремонт еще до победы. Правее – обнесенная колючей проволокой зона, где «Чирчиксельмаш» возводил новые корпуса цехов. Видны копошащиеся на стройке люди в одинаковой робе, бывшей некогда формой армии императора Хирохито, – со срезанными погонами и знаками различия. Играя во дворе, подражаем японцам, поднимающим тяжелый груз:

– Цей-ни (раз-два)! Взяли!

А кто-нибудь обязательно выкрикнет под общий хохот:

– Супа-сибо! – и примется кланяться в разные стороны.

– Работают, как на себя, – говорили взрослые. – Стараются. Думают, наверное, домой быстрее отпустят. Бедолаги!

– Непременно отпустят, – уверял Ефим Аронович, пожилой зубной врач. – Япония не принесла такого горя, как гитлеровцы.

А санитарка Урие Бекирова возражала:

– Никого никуда никогда не отпустят!.. Ну, эти-то хоть воевали против нас...

Пацаны постарше швыряли через ограждение куски лепешки или початки кукурузы. Поймавший кланялся в их сторону и обязательно делил лакомство поровну на всех своих товарищей.

При лагере были сапожная, швейная и мебельная мастерские, где шили платья и обувь для жен начальства и делали хорошую мебель. Комод, диван, юбки и войлочные бурки видел я в квартире начальника лагеря. И мне однажды сшили там шелковую полосатенькую рубашку. Я в ней в первый класс ходил. Мама говорила – скроили из лоскута, годного разве что на пару носовых платков.

Работала там и парикмахерская, где клиента укладывали на высокий топчан и брили лежащим. «Как на гильотину», – говорил отец. Левая рука мастера шевелила клиенту нос, а

правая – снимала бритвой ароматную пену. Всегда брившийся там капитан не позволял трогать себя за нос, но торопил парикмахера, глядя в потолок:

– Скорее, скорее... Хаяку!

...Однажды в лазарет заболевшим друзья принесли миску ароматно пахнувшего мяса.

– Откуда курица? – спросила медсестра.

– Блюдо из черепахи. Отведайте!

С тех пор черепаховые суп и жаркое больные ели регулярно. Поскольку черепахи на территории зоны попадались нередко, начальство решило сократить пленным норму мяса.

– Это несправедливо, – заявили присланные пленными делегаты.

Отец, как вспоминала мама, поддержал их, ведь питательный бульон помогал перебороть малярию.

Японские препараты использовались и в поселковой амбулатории. Порошок антисептин в аккуратном тубусе помню и я: присыпанные им ссадины и царапины затягивались почти мгновенно.

Красивые вещи, появившиеся у нас в те дни, – деревянные из крепчайшего бука башенка с танковыми часами, копилка для монет и письменный прибор – стали гордостью семьи на долгие годы. Гости восхищенно рассматривали чернильницы, подставку, перьевые ручки, футляры для спичек и перьев.

– Великолепно. Изумительная, филигранная работа... Мастер делал! Откуда это у вас? – спрашивали всегда.

Мама, а затем и мы, дети, с гордостью отвечали:

– Японцы подарили, военнопленные. Перед отъездом домой. Папе – на память.

...Поздняя осень сорок седьмого года – ноябрь или конец октября. В вечерних сумерках спешим с мамой в Чирчик на станцию. Состав – множество товарных вагонов-теплушек и один пассажирский подан на первый путь. Он повезет пленных во Владивосток – их отправляют на родину.

Урие оказалась не права – японцев продержали в плену чуть больше двух лет – крымских татар не отпускали куда дальше.

Погрузка завершена: пленные и солдаты охраны в теплушках, сопровождающие – в пассажирском. Офицеры заняли места и вышли попрощаться с родными. На перроне людно, все стоит группками. Только медсестра Нина ходит одна, бледная, опухшая от слез, и всматривается в приоткрытые двери теплушек.

– Эшелон отправляется, – объявил репродуктор. – Будьте осторожны.

И состав медленно поплыл в клубах выпущенного пара. Из теплушек выглядывали раскосые лица – улыбающиеся, счастливые, искрящиеся. Потом мелькнули страдающие глаза, и Нина, сорвавшись с места, побежала за ними. Она не отстает от поезда, пытаясь дотянуться до печально машущей руки японского солдата.

– Мама! А зачем бежит тетя Нина? – спрашиваю, но мать не отвечает. Ее душат слезы. Плачут многие женщины на перроне...

Домой возвращались на самосвале. Обессиленную Нину Ефим Аронович усадил в кабину. Туда же втолкнули и его. Остальные взгромоздились в металлический кузов, обросший цементом.

Держась руками за его выступы, сидел я на корточках между мамой и Урие Бекировой. И слушал. Было нестерпимо жалко Нину, о которой шел разговор. И в кромешной темноте по моим щекам текли слезы...

– Пленный этот, – рассказывала Урие, – попал в лазарет, где Нинка ему и приглянулась. Он ей – тоже. Паренек умный, по-русски быстро научился понимать. И мастер отменный. Это он подарил доктору свои изделия из дерева. Доктор посоветовал им с Ниной подать прошение в Верховный Совет Швернику. И текст помог составить. Они просили разрешить им пожениться, а ему – остаться у нас. Не позволили. Тогда стали просить разрешить ей уехать в Японию. Тоже

отказ!.. Что за дурацкие правила? Почему нельзя им любить друг друга?

– Тише, Урие! Не кипятись, ради Бога, – говорит подруга Нины Полина Бордунова и сама начинает рассказывать. – Мы пришли, когда еще шла погрузка. Конвой хоть и не отходил, не отгонял нас. «Товар-риси командир-ры! – умолял он. – Мирросердия прошу! Отпустите ее со мной! Не жить мне без нее». Конвойный-то и отвечает: «Кабы я решал, неужто не разрешил бы вам?!»

...Отец, сопровождавший японцев, вернулся через полтора месяца. Во Владивостоке вместе с начальником эшелона он сдавал военнопленных по списку. И хотя умерших в пути как, между прочим, и в лагере у отца не было, двух человек эшелон все-таки не досчитался. Исчез парень, влюбленный в медсестру Нину, и его товарищ.

Побег обнаружился после Байкала. Как беглецы ушли из теплушки, везущей к родимому дому, не знает никто. Кроме них самих – если, конечно, они еще живы...

Ребята, так считал отец, давно задумали побег. И ушли в Бурят-Монголию, где надеялись затеряться среди местного населения...

Добрался ли пылкий Ромео с острова Хонсю или Сикоку до Головного Узла и отыскал ли Нину? Мне это кажется маловероятным, уж очень суровые были времена. Беглецов, скорее всего, схватили...

Большинству его товарищей сегодня, конечно, уже больше семидесяти. Но те из них, кто живы, помнят, не сомневаюсь, Узбекистан, стройку завода сельхозмашин, чирчикский перрон...

Может быть, помнят и военврача, майора Кузнецова – высокого, худощавого, сероглазого, любителя шуток и прибауток, доброго и отзывчивого.

Помнят и русскую девушку-медсестру, ради которой японский юноша бежал из эшелона, везущего его к родимому дому...

А раз так, то, надеюсь, отзовутся! И расскажут о своей дальнейшей судьбе.

## НАСЛЕДИЕ

Вячеслав Завалишин

### Александр Блок и русская революция\*

«Пусть в революции – кровь, самосуд, красный петух; пусть разрушаются дворцы и стираются с лица земли Кремли, пусть ее мутный поток несет щепки, обломки, грязь; пусть хамство и зверство, разбойники, убийцы и произвол.

Она (то есть революция) сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих желаний, как бы велики и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойных, она часто выносит на сушу – невредимыми – недостойных; но это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того ощутительного гула, который издает поток. Гул этот – все равно, всегда – о великом».

*Вся Россия – в огне.*

*Россия возведена на костер.*

Для Александра Блока случившееся не было неожиданностью: «когда в воздухе собирается гроза, великие поэты

---

\* Из архива ж. «Грани» – Ред.

предчувствуют ее приближение в то время, как их современники, обычные люди, грозы не ждут».

Блок из «необычных». Он ощущал запах гари и дыма задолго до того, как над Россией взметнулось пламя:

*И отеряние от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть и ненависть к отчизне,  
И чёрная земная кровь,  
Сулят нам, раздувая вены,  
Все разрешая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи.*

И поэт вышел навстречу небывалой буре...

«Идет по улице большой серый грузовик. На нем – суровые рабочие и матросы, под красным знаменем РСДРП (золотом)».

Рабочие и матросы вооружены винтовками. Они несут на остриях штыков бурю и гнев. Александр Блок видел «незаметных героев» революции не только на митингах, и не только в действии, при жарких перестрелках, но и в более «интимной» обстановке, в каком-либо грязном трактире, за колченогим столиком и бутылкой разведенного спирта, – когда у человека настезь распахнута душа.

Владимир Маяковский встретил Блока на улицах революционного Петербурга. Поэт грел руки у костра. Маяковский вначале не узнал Блока, думал – греется простой солдат (Блок был в сапогах и шинели).

– Здравствуйте, Александр Блок!

– Знаете, у меня сожгли библиотеку в усадьбе, – тихо отозвался Блок.

Голос поэта окрашен тоской и болью. Но в то же время поэт жаждет превозмочь эту боль.

«Всем телом, всем сердцем, всем содержанием – слушайте р е в о л ю ц и ю!»

«... Все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и стало быть будут чудеса».

И «Двенадцать» и «Скифы» проникнуты ожиданием чуда.

Ветер и вьюга, – две мятежных стихии, – тоже «герои» поэмы. Вся Россия поднята ими на дыбы и брошена в бунт.

Бунт шатает улицы революционного Петербурга. На улицах – черный вечер и белый снег.

По улице идут двенадцать красногвардейцев, души которых влились в неистовый ветер.

Их внешний облик очерчен всего двумя-тремя резкими, но зато предельно выразительными взмахами слова:

*В зубах цигарка, примят картуз,  
На спину б надо бубновый туз!*

.....

*Винтовок чёрные ремни,  
Кругом – огни, огни, огни ...*

Появлению двенадцати предшествует парад «бывших» – тех, кого революция вырывает из почвы и сбрасывает в мир теней. По улицам революционного Петербурга, с усилием держась на ногах, проходят: барыня в каракуле («поскользнулась и – бац – растянулась»), невеселый «товарищ поп» («помнишь, как бывало, брюхом шел впереди, и крестом сияло брюхо на народ?»), писатель – вития («длинные волосы и говорит вполголоса: предатели! погибла Россия!»), старуха, которая жаждет найти более гуманное применение матерчатому плакату со словами «вся власть Учредительному собранию». («Сколько бы вышло портянок – для ребят, а всякий – раздет, разут...»).

А вот и главный враг:

*Стоит буржуй на перекрёстке  
И в воротник упрятал нос,  
А рядом жмётся шерстью жёсткой  
Поджавший хвост паршивый пёс.*

К людям старого мира Блок относится с какой-то озорной и в то же время немного злой иронией.

«Бывшие» боятся двенадцати, ибо с красногвардейцами шутки плохи («как пошли наши ребята в красной гвардии служить, в красной гвардии служить, буйну голову сложить»).

Вдруг навстречу двенадцати – прямо наперерез – летит лихач. Лихач отличный! («елекстрический фонарик на оглобельках»). В санях – Ванька и Катька.

Кто она, эта Катька?

Догадаться не трудно:

*В кружевном белье ходила –  
Походи-ка, походи!  
С офицерами блудила –  
Поблуди-ка, поблуди.  
Эх, эх, поблуди!  
Сердце ёкнуло в груди!*

Ну, а кто же Ванька?

Солдат и блудный сын мятежа. Из-за девки мировую революцию проглядел.

Бей золотопогонников! Не век же Катьке офицерье забавлять. Пусть, холера, черной кости послужит.

*Помнишь, Катя, офицера –  
Не ушёл он от ножа ...*

*Аль, не вспомнила, холера?  
Али память несвежа?*

*Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!*

Революция блудных сыновей не прощает. Красногвардейцы крепко злы на Ваньку и хотят расправиться с ним. За что?

За то, что Ванька «не наш», хоть и был «наш». Кроме того, он, очевидно, угостил ножом офицера не из любви к человечеству, а, так сказать, из-за эгоистических, «мелкособственнических» побуждений – чтоб сжить со света соперника.

*Стой, стой! Андрюха, помогай!  
Петруха, сзади забегай!..*

*Лихач – и с Ванькой – наутёк ...  
Ещё разок! Взводи курок!..*

*Утёк, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!*

*А Катька где? – Мертва, мертва!  
Простреленная голова!*

Среди двенадцати есть кто-то, который руководит всеми их действиями. Блок не выдвигает этого «незримого» на передний план; наоборот, заставляет его держаться в тени, но тем не менее мы чувствуем, что «незримый» имеет над бунтарями загадочную, таинственную власть.

И он, этот «незримый», охотится не за Катькой, а за Ванькой. На Катьку он зол только за то, что она вскружила голову не только Ванюхе, но и Петрухе.

С огнем не шутят. Катька встретила смерть не случайно. Она игриво наступила каблуком на сильную, настоящую страсть и не заметила, что из этой страсти может вырасти безумная злоба.

*Что, Катька, рада? – Ни гу-гу ...  
Лежи ты, падаль, на снегу!..*

Восторг убийства сменяется раскаянием. Петрухой овладевает горе и ужас:

*И опять идут двенадцать,  
За плечами – ружьеца.*

*Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица ...  
.....*

*– Что, товарищ, ты невесел?  
– Что, дружок, оторопел?  
– Что, Петруха, нос повесил,  
Или Катьку пожалел?*

*– Ох, товарищи, родные,  
Эту девку я любил ...  
Ночки чёрные, хмельные  
С этой девкой проводил ...*

*Из-за удали бедовой  
В огневых её очах,  
Из-за родинки пуницовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча ... ах!*

Раскаяние вызвало желание искупить грех: Петруха припоминает золотой иконостас православного храма.

Задача «незримого» убить в душе человека и чувство раскаяния и стремление искупить грех. Иначе может погибнуть дело, за которое он взялся и ради которого овладел сердцами двенадцати. «Незримый» своего добивается:

*Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво... –  
.....*

*От чего тебя упас  
Золотой иконостас?*

Антирелигиозное нравоучение подкрепляется руганью и приказаниями.

*– Ишь, стервец, завёл шарманку,  
Что ты, Петька, баба, что ль?*

*Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!*

.....

*Али руки не в крови  
Из-за Катькиной любви?*

*– Шаг держи революционный!  
Близок враг неугомонный!*

«Агитация» подействовала.

*И Петруха замедляет  
Торопливые шаги ...*

*Он головку вскидывает,  
Он опять повеселел...*

*Эх, эх!  
Позабавиться не грех!*

От этих забав у России синяки под глазами:

*Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!*

*Отмыкайте погреба –  
Гуляет нынче гольтьба!*

Двенадцать ринулись в бой! На штурм старого мира!

*– Всё равно, тебя добуду,  
Лучше сдайся мне живьём!  
Эй, товарищ, будет худо,  
Выходи, стрелять начнём!*

*Трах-тах-тах! – И только эхо  
Откликается в домах ...  
Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах.*

Заставляя человека с ружьем, в помятом картузе и с сигаркой в зубах повиноваться себе, «незримый» переплавляет злобу и гнев в революционную волю. Мотив революционной воли проходит сквозь всю поэму:

*Товарищ! Гляди  
В оба!  
.....  
Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!  
.....  
Вперёд, вперёд, вперёд,  
Рабочий народ!*

И вдруг мы видим, что сквозь злобу и гнев, сквозь метель и ветер, сквозь ненависть и кровь бунтари идут... к Иисусу Христу, Который стоит впереди, с красным флагом в руках:

*... Так идут державным шагом –  
Позади – голодный пёс.  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули неведим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россытью жемчужной,  
В белом венчике из роз –  
Впереди – Иисус Христос.*

Так неожиданно и странно заканчивается эта поэма, врезанная в метель и ветер.

В центре «Двенадцати» – преступление Петрухи, маленькая, ночная трагедия, разыгравшаяся на улицах революционного Петрограда.

Но целое познается по части; душа Петрухи становится душой метельной, опьяневшей от крови России. Ночная тра-

гедия разрастается в трагедию коллектива, в трагедию России и ее исторических судеб.

«Всякое стихотворение – звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, – это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. Из нее рождаются миры». – Так охарактеризовал Блок то настроение, которое владело им, когда он искал для отображения революционной эпохи какую-то новую форму стихосложения. Новые формы стиха у Блока возникали из нового отношения к миру: «художник поглощен исканием форм, способных выдержать напор творческой энергии».

В поэму «Двенадцать» включены осколки плясовых наигрышей, частушек и «жестоких» романсов. Частушки звучат, как музыка баяна, который захлебывается бесшабашным русским весельем и сумасшедшей русской радостью. Исповедь Петрухи стилизована под «жестокий» романс из тех, что разнесены шарманщиками по окраинам Петербурга. Иван Бунин, который резко отрицательно отозвался о поэме «Двенадцать», упрекает Блока за то, что поэт, взявшийся за стилизацию народных мелодий, не знает народного языка.

По мнению Бунина, питерский рабочий не имеет представления о том, что такое «пунцовая родинка» и так далее.

Выдвинутое Буниным обвинение необоснованно. Жители окраин Петербурга большие охотники до бульварных романов. И в их речь часто входили «пышные» обороты речи, заимствованные из этих романов. Обороты эти не формировали строй речи, а только грязнили хороший русский язык. Это именно то, что Селищев назвал когда-то «неотмытой речью».

Блок подметил эту особенность с удивительной чуткостью. Кроме того следует подчеркнуть, что обрывки народных мелодий включены поэтом в текст поэмы «Двенадцать» по такому же принципу, который руководил Чайковским, когда композитор включил в одну из своих симфоний мелодию русской песни «Во поле березонька стояла». Блоком неоднократно применен поэтический контрапункт, то есть

принцип одновременного звучания двух мелодий. В русских частушках и даже мещанских романсах сквозь пошлость и дурной вкус порой пробивается сильная страсть и совсем настоящее горе. Александр Блок создал высокое и прекрасное из такого материала, от которого другие резчики по слову могли бы брезгливо отвернуться.

Поэма «Двенадцать» разбита на двенадцать эпизодов. Редко в каком из эпизодов не встречается лозунг или марш.

Первый эпизод заканчивается лозунгом: «Товарищ, гляди в оба!»

Перед самым концом второго эпизода марш и лозунг сливаются воедино: «революционный держите шаг».

Третий эпизод заканчивается маршем. В конце шестого эпизода снова повторяется призывный лозунг – «революционный держите шаг». В конце седьмого эпизода и отчасти в восьмом марш перерастает в озорную частушку: «запирайте этажи». В конце десятого и одиннадцатого эпизода снова обручены марш и лозунг: «вперед, вперед, вперед, рабочий народ».

«Во время работы я несколько дней – физически, слухом – ощущал вой ветра», пишет поэт. Сделав марш и лозунг лейтмотивом своей поэмы, Александр Блок как бы преображает слово в неистовый ветер. Сжатые и стремительные строфы сами переходят в бурю.

«Поток, ушедший в землю, протекавший в глубине и тьме, – вот он опять шумит и в шуме его – новая музыка. Мы любим эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы в оркестре.

Но если мы их, действительно, любили ... мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вырастают из мирового оркестра и, слушая, понимать, что это – о том же, все о том же... Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит разорванный ветром воздух».

Из этих высказываний видно, что органическое единство формы и содержания было для Блока закономерностью.

Трагедия красногвардейца, убившего – то ли из ревности, то ли случайно, при попытке расчитаться с соперником – деву, с которой герой поэмы проводил черные, хмельные ночи – творческий нерв «Двенадцати».

Но кровь Катьки и безумное отчаяние Петрухи пронесены Блоком сквозь кровь и безумное отчаяние всей русской революции: личное, индивидуальное раскрывает себя в коллективном, в разбушевавшейся стихии. Смена различных силлабо-тонических ритмов ритмами чисто тоническими – только средство к тому, чтобы художественно воспроизвести и рушащийся старый мир и страстный, преображающийся в бурю, порыв к новому.

Новое дано, преимущественно, в тонических ритмах, старое – в силлабо-тонических. Столкновение ритмов рождает бурю: и слова, и художественный образ подчинены смыслу.

Тема русской революции в творчестве Блока не случайна.

Приближение катастрофы, которая придает стране совсем иной облик, Блок предчувствовал задолго до обеих революций, – и девятьсот пятого и семнадцатого годов.

Николай Васильевич Гоголь, в лучшей из поэм «Мертвые души» сравнивал Россию с несущейся вскачь тройкой. Используя это сравнение, Блок применил его для определения судеб современной ему России:

«... и вот поднимается тихий занавес наших противоречий, падений и безумств. Слышите ли вы задыхающийся гон тройки? Видите ли ее ныряющей по сугробам мертвой и пустынной равнины? Это Россия летит неведомо куда, в сине-голубую пропасть времени, на разубранной своей и разукрашенной тройке. Видите ли ее звездные очи, с мольбой обращенные к вам.

Полюби меня и полюби красоту мою!..

Кто же проберется навстречу летящей тройке, тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмысленных коней», – отмечает Блок в девятьсот восьмом году, в записной книжке. Нет в России людей, способных предать проклятию

безумие и кровь. Русь на краю бездны. Русь скачет в бурю и гнев. «Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая вырвавшись от одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной».

И вот, наконец, свершилось:

«Страшный шум возрастает во мне и вокруг ... на днях лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул ... Думал, что началось землетрясение...»

То был гул крушения старого мира.

В записных книжках и публицистических работах Александра Блока высказывания о России, о ее минувшем, настоящем и грядущем являют как бы созвездие сюрреалистических образов и пророческих озарений, которые складываются в апокалипсис русской революции. Когда поэт говорит о надвигающейся катастрофе, он сравнивает эту катастрофу с геологическим переворотом, с извержением вулканов, с небывалым по силе землетрясением; толчки, способные вызвать катастрофу, поэт улавливает с такой же чуткостью, с какой сейсмограф улавливает колебания почвы.

Россия династии Романовых слишком дряхла, чтобы устоять перед этой катастрофой, ибо эта Россия уже давно стоит одной ногой в царстве смерти:

«На равнинах, по краям дорог, в зеленях или в сугробах тлеют, гниют, обращающиеся в прах барские усадьбы с мрамором, с амурами, с золотом и слоновой костью, с высокими оградами вокруг столетних липовых парков, шестиярусными иконостасами в барских церквях ... и уже некому умирать и нечему воскресать. Этот быт гибнет, сменяется безбытностью».

У Блока двойственное отношение к этому истлевшему царству. Он и любит его, до скорби, до сострадания, и ненавидит его, до отчаяния и злобы. Так человек, который часто посещает кладбище, может в зависимости от настроения и обстоятельств ощущать то молитвенное спокойствие, то тихую грусть, то мистический ужас, то ненависть к этой обители смерти.

Русская интеллигенция напряженно ищет выхода из царства смерти, но она слишком слаба, чтобы совладать со стихией.

«Мы видим себя, как бы на фоне зарева, на легком кружевном аэроплане, высоко над землей, а под нами – громадная огнедышащая гора, по которой, за тучами пепла, ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы ...»

«Царство тления стоит у подножия вулкана, который начинает дымиться. Катастрофа разразится не сразу. Ей предшествуют вспышки мятежей». «Когда такие замыслы, исконитаящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывающие их путы и бросаются буйным потоком, доламывая плотины, обсыпая липкие куски берегов – это называется революцией. Меньшее, более умеренное, называется мятежом, бунтом, переворотом», и Блок представляет, как костры вспыхивают то здесь, то там, соединяются в могущественнейшее пламя, в единый поток огня. Жизнь становится похожей на страшный фантастический сон, на бредовое видение. Такой мы и видим жизнь в повести Блока «Ни сны, ни явь».

В этой повести силен автобиографический элемент. Действие начинается в помещичьей усадьбе.

«Мы сидели под липами и пили чай». Невдалеке косили луг. Один из косарей завел песню – «без усилия полился и сразу наполнил и овраг и рощу и сад сильный серебряный тенор». В песне клокочет буря. Буря переходит из слова в жизнь. Весь уклад жизни – и мужика и помещика – крепко вросший корнями в землю, зашатался от этой песни. Купец, что был околдован песней, запил мертвым поем и поджег сараи, набитые сеном. В окрестных селах появился смутьян (агитатор), разъезжающий на велосипеде и повсюду сеющий зерна гнева. У мужиков покосились избы, но они их не чинили, ибо привычка к труду вытеснена жаждой бунта. Мозолистые руки тянулись не к плугу, а к обрезаю и топору. Песнь ударила в сердце, подняла из глубины сознания, со дна души, вековую тоску по иной, лучшей жизни, по мужичьему царству. Герой повес-

ти чувствует, что и к нему в душу стучится поднятый песней гнев. Он схватывает топор и начинает рубить сиреневый куст. «Кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет». За кустами сирени – роща. Вошедший в раж герой вырубил и рощу – к счастью, только во сне.

В сон героя повести врывается тревожный шорох листьев. Это шумит лес – в буре и ветрах. Из леса выходят мужики. Толпы мужиков. Этим толпам нет ни конца, ни края. В глазах у них – под косматой бровью, – иступленный, неистовый гнев. У одних в руках вилы, у других – тяжелые мечи.

В одной из записных книжек поэта есть четверостишие, близкое по духу этому эпизоду повести «Ни сны, ни явь»:

*И мы поднимем их на вилы,  
Мы в петлях раскачнём тела,  
Чтоб лопнули на шеях жилы,  
Чтоб кровь проклятая текла.*

Перед лесом – холм. На холме – всадник, окруженный богатырями. Богатыри и тот, кто верховодит ими, на лошадях. Всадник вытянул руку вперед. Движение его руки полно решимости и волевого напряжения. Чувствуешь, что всадник сумеет подчинить своей воле ярый мужичий гнев.

Действие того «незримого», который командует двенадцатью, можно уподобить повелительному жесту этого всадника. Сами же двенадцать исполняют ту же роль, которая в повести «Ни сны, ни явь» отведена богатырям.

Блоку ясно, что русская революция – стихийная, народная, крестьянская. Это взмах топора, с целью пробиться из истлевшей России в мужичье царство. Но у самих-то двенадцати далеко не крестьянский облик. Герои поэмы Блока – не крестьяне, а удалцы из фабричных окраин. Это даже не пролетариат в полном смысле этого слова, а скорее люмпен-пролетариат.

В предреволюционной России появилось племя бродяг. Своего рода сословие людей, которые, отвыкнув от плуга, не взяли за станок. Бродяги гордо шествуют по российским просторам и, чего доброго, завоюют будущее. Это – священ-

ное шествие, стройная пляска тысячеокой России, которой уже нечего терять.

Бродяги нашли пристанище на окраинах Петербурга: «я проникал к окраинам нашего города. Знаю, знаю, что долго еще там ветру визжать, чертям водиться, самозванцам в кулак свистать». Что такой петербургский босяк – не мужик и не пролетарий метит в хозяева земли – Блок понял еще давно:

*Он – с далёких пустырей,  
В свете редких фонарей.  
Шея скручена платком,  
Под дырявым козырьком  
Появляется,  
Улыбается.*

«Незримый» подобен всаднику, с его повелительным жестом. Людям с дырявыми козырьками в большевистской революции отведена роль богатырей, которые направляют обуянные гневом и злобой толпы мужиков туда, куда им нужно.

«Большевики, лютые враги народников, все свои надежды и планы поставили не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением грабить награбленное», – пишет Иван Алексеевич Бунин в статье «Третий Толстой». Буниным высказана вполне правильная мысль. «Незримый» Блоком не воспроизведен, но мы все время ощущаем его присутствие. Без него, без этого «незримого» поэма «Двенадцать» была бы и непонятной и необъяснимой. В «незримом» воплощен большевизм, точнее – одно неоспоримое достоинство большевиков: их железная, нерушимая воля.

Именно эта воля позволяет «незримому» бросить двенадцать красногвардейцев на штурм старого мира. Этого достичь нелегко: «незримому» приходится постоянно преодолевать не только внутреннее сопротивление Петрух и Андрюх, но и мажордерство отступников типа Ванюхи.

Оседлать всенародный гнев очень трудно. Еще неизвестно, кто кого одолеет. «Когда в семнадцатом году Ленин, при-

ехав в Россию, опубликовал свои тезисы, я подумал, что этими тезисами – он приносит всю, ничтожную количественно, героическую – качественно, рать политически воспитанных рабочих и всю – искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта – единственная в России – сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа», – писал Горький в «Несвоевременных мыслях».

Большевизм – не народоправство и не стихийно-возникшая власть народа. История захвата большевиками власти есть история партийно-политического нападения на стихию; есть история единоборства небольшой, но прекрасно организованной политической партии со всенародной революцией, с надеждами и чаяниями всей России. Это партийно-политическое нападение на стихию было осуществлено и предпринято при помощи люмпен-пролетариата.

«Октябрь стал неминуем волею людей, а не силой стихии» (А. Ф. Керенский).

Отчаянно смелая борьба большевиков с мятежной стихией на какой-то миг увлекла Блока, сам поэт был восхищен тем, как «незримый» покоряет двенадцать красногвардейцев, но это восхищение, ни в коем случае, не дает нам права говорить о большевизме Блока, отождествлять Блока и коммунистов.

Видели ли вы смельчака, который стремительным рывком хватает за гриву взъяренного, вставшего на дыбы коня? Смелчак хорошо знает, что он или оседлает этого коня или сам будет растоптан. Человек этот может быть самым закоренелым преступником, самым отпетым негодяем, но его неистовый рывок все же достоин восхищения.

Блок был восхищен в большевистской революции именно этой смелостью, именно этим рывком, но отнюдь не сущностью большевизма и не общественным идеалом большевиков.

В революции – и великий свет и злая тьма, – поэт понимал, что большевики сделали ставку на теневые стороны революции:

«Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревьям. Широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть – горит. Такие же желто-бурые клубы дыма, за которыми – тление и горение, стелятся в миллионах человеческих душ: пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести, – то там, то здесь вспыхивают; русский большевизм гуляет, а дождя все нет и Бог не посылает его».

Трагедия красногвардейца, который расстрелял свою любовь, – самый напряженный мотив поэмы «Двенадцать». Мятая стихия претворяет страсть в преступление. Но эта поэма построена Блоком так, что трагедия красногвардейцев воспринимается нами, как трагедия России и русского народа. Профессор Алексеев-Аскольдов назвал русскую душу «святозверем». Русский человек, в силу склада своей души, или святой, или тварь. «Незримый» выжигает из чувств и дум мятежных красногвардейцев все то, что может напомнить им о святости; торжествующий зверь выпущен на простор и брошен на штурм старого мира.

«Незримо» и его соратникам удастся обуздать мятежную стихию не только потому, что ими проявлены и находчивость и смелость, но еще и потому, что и «незримым» и стихией руководит и жажда преобразования земного шара, и вера в то, что к этой обновленной земле можно прорваться через огонь и дым, через кровь и огонь. Чем сильнее страсть к разрушению, которой предается русский мужик и русский мастеровой, тем величественнее и прекраснее должен быть мир новый, тот, что будет воздвигнут на пепелище.

Революция явилась для России и саморазрушением и самосожжением. Тяга к самосожжению вызывается безумной верой в то, что на обугленных развалинах могут возникнуть новые миры.

Эта вера в очистительную силу огня роднит и Ленина и русский народ.

Блок одно время тоже верил в то, что огонь может быть и целительным и всеочищающим:

«Петербург – грязь, Россия – грязь, все, что осело пылью, догматами – стало грязью».

«Переделать все: устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала бы справедливой, веселой и праздничной жизнью».

«... И вот задача русской культуры – направить этот огонь на то, что нужно сжечь: буйства Стеньки Разина и Емельяна Пугачева превратить в волевою музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напор огня, но организуют этот напор. Организовать буйную волю, ленивое тление, в котором таится возможность буйства, направить в распутинские углы души и там раздуть его в костер, до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская плоть».

Но если большевизм и мятежную стихию соединяла вера в то, что преображение Руси можно осуществить через огонь и кровь, то коммунисты и Россия совсем по-разному представляли себе, какими должны быть эти преображенные миры.

Для большевиков общественный идеал Карла Маркса – это новая религия, которая призвана отвергнуть и вытеснить христианство. В жертву этому новому богу большевики принесли старинные потемнелые образа Иисуса Христа. Русский большевизм – ожесточенный противник христианства. Для России же преображенный мир – это мир, которым владеет Иисус Христос, воспрянувший из пыли и мглы.

«Самосожжение, как религиозный подвиг, – пишет Николай Бердяев – русское национальное явление, почти неизвестное другим народам».

Александра Блока пленил не общественный идеал большевиков, а то стремление к новому миру, во имя которого русский мужик готов на самосожжение.

Отношение Блока к этому стремлению тесно связано с отношением поэта к русской религиозной идее.

К лику Иисуса Христа Блок простер руки давно:

*Когда в листве сырой и ржавой  
Рябины заалет гроздь, –*

*Когда палач рукой костлявой  
 Вобьёт в ладонь последний гвоздь,  
 Когда над рябью рек свинцовой,  
 В сырой и серой высоте,  
 Пред ликом родины суровой  
 Я закачаюсь на кресте,  
 Тогда просторно и далёко  
 Смотрю сквозь кровь предсмертных слёз,  
 Я вижу по реке широкой  
 Ко мне плывёт в челне Христос.  
 В глазах – такие же надежды,  
 И то же рубище на Нём,  
 И жалко смотрит из одежды  
 Ладонь, пробитая гвоздём.  
 Христос, родной простор печален,  
 Изнемогаю на кресте,  
 И челн Твой будет ли причален  
 К моей распятой высоте.*

Раскольники, которые шли к Христу путем самосожжения, тоже с давних пор привлекали поэта:

*Задебренные лесом кручи  
 И где-то там, на высоте,  
 Рубили деды сруб горячий  
 И пели о своём Христе ...  
 И капли ржавые, лесные,  
 Таясь в глуши и темноте,  
 Несут истерзанной России  
 Весть о сжигающем Христе.*

В бумагах некоего Левина, который сотрудничал вместе с Блоком в издательстве «Всемирная литература» хранилось стихотворение Всеволода Крестовского, подчеркнутое Блоком красным карандашом. Вдова поэта, Любовь Дмитриевна, говорила, что это стихотворение привлекло поэта во время работы над поэмой «Двенадцать»:

*Мне снился торжественный сон,  
Гас вечер на небе багровом,  
И в воздухе грохот и стон  
Носились в величьи суровом.  
Под ядрами рушится дом,  
Визжит и взвивается пламя,  
И реет во пламени том  
Кровавое красное знамя.  
Вся улица кровью полна,  
Весь город в смятеньи от страха,  
И вот уж позорно видна  
На площади чёрная плаха.  
Вся улица в муках тоски,  
Гремят вдалеке барабаны,  
И ломятся массой полки  
В завалы, в народные станы.  
А там уж последний упал,  
Конец их безумной надежде,  
Но Кто-то над павшими встал.  
В сияющей тихой одежде.  
Над облаком дыма в огне,  
Стоял Он на той баррикаде,  
С терновым венком на челе  
И с мукой предсмертной во взгляде.  
Он руки вперёд простирал,  
Гвоздями пробитые руки,  
И лик Его кроткий дышал  
Блаженством божественной муки.  
Ветвь мира для мира всего  
Держал Он средь павшего стана  
И в правом боку у Него  
Сочилась новая рана.*

Из интереса к такого рода стихам видно, что Блока давно интересовала проблема взаимоотношений религии и революции.

Незадолго до «Двенадцати» Блоком была задумана поэма о Христе.

Поэт увенчал «Двенадцать» образом Христа после мучительных сомнений и тревожных раздумий. В революции не только кровь и дикий, бесшабашный разгул, ибо она озарена великим светом. Свет исходит от Христа. Но образ Христа явится для Блока мучительной и сложной загадкой.

Неверно, что Блок благословил революцию именем Христа: для поэта революция – борьба двух стихий – света и тьмы.

Красногвардеец Петр приходит в ужас от того, что сделано им. И вот убийца, которого тяготит содеянный грех, припоминает золотой иконостас православного храма. «Незримый» больше всего страшится этого мгновения. Он прилагает бешеные усилия к тому, чтобы убить раскаяние в душе Петра.

«Незримого» – ошибочно отождествлять с Христом или с самим поэтом. «Незримый» – антихрист. И в поэме «Двенадцать» воспроизведена борьба между Христом и Антихристом. Борьба за обладание душой России.

К огорчению, образ «незримого» – расплывчатый и зыбкий. Мы не ощущаем его присутствия, а можем только догадываться о том, кто он и где он, – по последствиям действий, им проявленных.

Красногвардеец Петр и его товарищи пошли за «незримым», полагая, что идут за Христом.

Сам поэт одно время колебался. За кем идти? За Христом или за «незримым». Однажды поэт дошел до того, что готов был «возненавидеть этот женственный Призрак» (то есть Христа). «Дело не в том, достойны ли они Его (то есть красногвардейцы Христа), а страшно то, что Он опять с ними, а другого пока нет. А надо другого».

Присутствие другого мы в поэме «Двенадцать», повторяю, только ощущаем. Этот «другой» – антихрист, «незримый». Но мятежный народ, который, хоть и подчинен воле «незримого», душой и сердцем не с ним, а с Христом.

Русская революция вызвана неопределенным стремлением к царству Божию на земле. Блок верил, что если это стрем-

ление и не приведет Русь к стенам Нового Иерусалима, то рано или поздно преобразит нашу страну, позволит ей освободиться от мучений и скорби. Поэт подчеркивает, что, заставив Христа возглавить красногвардейцев, он только констатировал факт, увидев Спасителя, заметенным петроградской метелью. «Религия не только связана с реакцией. Возрождение России немыслимо без ее религиозного возрождения».

Позднее, когда Блок пересмотрел свои взгляды на революцию, поэт от Христа не отрекся, не согласился с тем, что Христос, уходящий в метель и полумрак – только роковая галлюцинация, «из этого безысходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформленного начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного светоносного создания. И я хочу верить, что нынешняя мировая война выведет Россию из этого безвыходного круга, пробудит в ней мужественный дух, покажет миру мужественный лик России, установит внутреннее должное отношение европейского востока и европейского запада».

Всероссийская страсть к саморазрушению и самосожжению – роковая, преступная страсть.

Блок в поэме «Двенадцать» осудил страсть к самосожжению – и свою личную и всенародную: за вспышку этой страсти страна заплатила десятилетиями страданий и скорби.

Но и признав, что он был неправ, Блок продолжал настаивать на том, что образ Христа в самом конце поэмы не случаен, а закономерен.

Поэт стал жертвой гиперболической дальнзоркости; веры в религиозное возрождение он не утратил, но только пришествие этого возрождения отодвинуто им в далекое будущее:

«Все будет хорошо. Россия будет великой. Но, Боже мой, как долго ждать, как мучительно долго ждать».

«Россия – буря. России суждено пережить муки унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой».

Гиперболическая дальноркость, которая делает конец поэмы «Двенадцать» непонятным и странным, вытекает из провозглашенного поэтом «принципа двух времен». Поэт, обретший духовную независимость, становится властелином пространств и времен. Настоящий поэт может одновременно существовать во всех временах: в настоящем, в прошедшем и в будущем. Есть как бы два времени и два пространства: одно историческое – календарное, другое – неисторическое, музыкальное.

Блок иногда чувствовал себя человеком четвертого измерения. Станиславский в свое время осуждал поэта за то, что он слишком неожиданно переходит из календарного времени в музыкальное, и при этом теряет чувство меры. Станиславский, после долгих размышлений, решил, что осуществить постановку пьесы Блока «Песня судьбы» на сцене МХАТ'а невозможно из-за того, что зритель не поймет этого соскальзывания в иное измерение.

– Считайте меня за сумасшедшего. Да, может быть, я уже на пороге безумия или прозрения. Все, что было, все, что будет, обступило меня. Точно в эти дни живу я жизнью всех времен, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы. Князь стал с дружиной на холме. Земля дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клекот грозил невзгодой. Потом поползла зловеющая ночь и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом и слушали землю. Лебеди и гуси мятежно плескались. Рыдала вдовица. Мать билась о стремя сына. Только под русским станом стояла тишина и полыхала далекая зарница. Но ветер угнал туман, настало вот такое же осеннее утро и также, я помню, пахло гарью и двинулся с холма княжеский стяг. Но первые пали мертвыми чернец и татарин, рати сшибались и весь день дрались, резались, грызлись... а свежее войско весь день должно было сидеть в засаде, только смотреть и плакать и рваться в битву. И воевода повторял, остерегая, «рано еще, не настал наш час».

Господи, я знаю, как всякий воин в этой засадной рати, как просит сердце работы и как рано еще, рано... вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придет и ска-

жет: «Пробил твой час. Пора!» – это монолог Германа, героя Песни Судьбы, но Герман-то живет не в средневековой Руси, а в двадцатом столетии. При этом Герман не устает подчеркивать, что он не сумасшедший, а человек, который видит дальше других и зорче других...

Концовка поэмы «Двенадцать» и объясняется той же гиперболической дальноркостью, присущей творчеству Блока: поэт перенес образ Христа из далекого будущего в современность.

Но как совместить ощущение самосожжения, – как греха, свойственного русской душе, – с искренней уверенностью в том, что Христос не отрекся от красногвардейцев?

Дело в том, что новые миры возникают не из обугленных развалин, и к ним, к этим мирам, Россия придет не через самосожжение, а через сознание греха, через стремление очиститься от злой тьмы. И вот тогда у поэта *вера в силу самосожжения сменяется преклонением перед раскаянием*. И в этом преклонении, быть может, и заточена основная идея «Двенадцати».

Гиперболическую дальноркость поэт переживал очень болезненно. В особенности потому, что многие или не видели этой его особенности – из всех деятелей искусства, знакомых с поэтом, если не ошибаюсь, только Станиславский понял Блока так, как его нужно понимать; или не прощали ему ее. Не случайно, поэтому, Блок в одном из последних стихотворений, посвященных Пушкину, намекнул, что, увенчав поэму «Двенадцать» образом Христа, он этим не благословил настоящее, а только предвидел грядущее:

*Наши страстные печали  
Над таинственной Невой,  
Как мы чёрный день встречали  
Белой ночью огневой.*

*Что за пламенные дали  
Открывала нам река,*

*Но не эти дни мы звали,  
А грядущие века.*

*Пропуская дней текущих  
Кратковременный обман,  
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман.*

Однако, поэту хочется верить, что гиперболическая даль-  
нозоркость, которая была вечным спутником его творчества,  
в годы социальных катастроф и потрясений вселилась и в  
тысячеокую Россию, охватившую безумием революции:

«Мы пережили безумие иных миров, преждевременно  
потребовав чуда: то же произошло ведь и с народной душой:  
она прежде срока потребовала чуда и ее испепелили лиловые  
миражи революции!»

Анализ поэмы «Двенадцать» позволяет нам несколько по-  
новому осветить и поэму Александра Блока «Скифы», напи-  
санную сразу же после «Двенадцати».

«Скифы» Блока в какой-то мере перекликаются с его ста-  
тьей «Крушение гуманизма». В этой статье Блок отмечает,  
что мы входим в такое время, когда цивилизация отрывается  
от культуры и становится достоянием запада; бессознатель-  
ными же хранителями культуры являются варварские массы;  
«еще неизвестно, кто кого будет приобщать к культуре: цивили-  
зованные люди варваров или же наоборот».

Как понимать эти слова?

Чем объяснить стремление Блока обручить друг с другом  
два, казалось бы, диаметрально противоположных, неприми-  
римых мотива: азиатскую страсть к разрушению и стремле-  
ние к мирному переустройству человечества:

*Не сдвинемся, когда свирепый Гунн  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города и в церковь гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!*

*Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжёлые крестцы,  
И умирять рабынь строптивых ...*

Возможен ли от упоения страстью к разрушению – внезапный уход в мир и любовь:

*В последний раз – опомнись, старый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз на светлый братский пир  
Сзывает варварская лира!*  
.....

*Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно – старый меч в ножны.  
Товарищи! Мы станем – братья!*

В этой внезапной смене двух страстей раскрывается загадочная душа России:

*Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,  
И обливаясь чёрной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя  
И с ненавистью и с любовью.*

«Русский народ есть народ будущего. Он разрешит вопросы, которые запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит во всей их глубине. Но это сознание всегда сопровождается пессимистическим чувством русских грехов и русской тьмы, иногда сознание того, что Россия летит в бездну», – пишет Николай Бердяев в «Русской Идее».

Та же самая мысль вправлена Блоком в художественный образ.

К берегам нового света Россия придет через раскаяние в содеянном преступлении. Петруха, герой «Двенадцати», уже прошел через первый приступ раскаяния, после того, как убил горячо любимую им Катюку. «Незримый» вернул его душе восторг убийства, восторг преступления. Но этот вос-

торг неизбежно пройдет, и Петруха или его потомки поймут, что к обновлению земли не идут через страдание и кровь.

«Скифы» написаны несколько архаическим, тяжеловесным размером; очевидно, сказались усталость и спад волевого напряжения, с каким Блок работал над поэмой «Двенадцать»; но вся поэма, с начала до конца, проникнута – пусть туманно, неясно, мистически выраженной – мятущейся неистово страстной мыслью, которая преодолевает формальную, ритмическую тяжеловесность, заставляет забыть о ней.

Интеллектуальный импрессионизм «Скифов» обращен к чувству, к интуиции, но не к рассудку; вот почему эта маленькая поэма так трудно поддается рационалистическому анализу.

В восемнадцатом году критик Лундберг установил преемственность «Скифов» от стихотворения Пушкина «Клеветникам России». «Что ж, случаются *повторения* и в истории», – писал по этому поводу Александр Блок. Далее говорилось, что на «Скифов» оказал влияние «Дракон» Владимира Соловьева, пронизанный страхом перед «панмонголизмом»:

*Панмонголизм. Хоть слово дико,  
Но мне ласкает слух оно.*

Все эти влияния, в самом деле, сказались на творчестве Блока. Однако, следует обратить внимание на брошюру Бердяева «Душа России», вышедшей в пятнадцатом году, которая отмечена Блоком и по мысли «во многом перекликается со «Скифами».

Николай Бердяев в этой брошюре не раз подчеркивает, что и душа России и ее исторические судьбы являют собой совмещение противоположностей.

«Им (то есть русским народом) можно очароваться и разочароваться. От него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть».

«В России давно, уже нарождалось пророческое чувствование того, что настанет час истории, когда она будет при-

звана для великих откровений духа, когда центр мировой духовной жизни будет в ней ...»

Это пророческое чувство и раскрывается в идее мессианизма, в мессианском сознании.

«Мессианское сознание не есть националистическое сознание; оно глубоко противоположно национализму; это – универсальное сознание... Русский мессианизм не может быть связан с Россией консервативно-бытовой, инертно косной».

Бердяев подчеркивает, что русское «мессианское сознание» двойственно, ибо оно «замутнено, пленено языческой национальной стихией».

Где же выход?

«Тайна России может быть разгадана лишь освобождением ее от искажающего рабства темных стихий».

При этом Бердяев счел нужным указать, что «русский народ не был народом культурным, по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности». Этим свойством объясняется то, что в душе России любовь, в сравнительно недолгие сроки, претворяется в ненависть, а ненависть – в любовь.

Такой переход ярче всего проявляется в том периоде истории России, когда язычество было вытеснено пришедшей с Византии христианской культурой. Славянские племена с давних пор пытались взять Византию мечом. Походы Святослава Игоревича (942–972 гг.) кончились неудачей, а сын князя-конквистадора, Владимир Святославович, вынужден был отказаться от идеи завоевания Византии.

Но если византийскую культуру нельзя привести в Россию, как военный трофей, то у себя на родине, в Киевской Руси, через мирное общение с Византией, можно построить культуру, которая, во многом исходя от византийской, все же приобретет своеобразный облик, обусловленный русской самобытностью.

Переход к христианству для Бердяева – это победа русского мессианского сознания над языческой национальной стихией, прыжок в свободу из рабства темных стихий.

Ожидая «повторений» в истории Блок предполагал, что после того как революционный пожар отгорит, комплекс Святослава будет вытеснен комплексом Святого Владимира, иными словами – на смену меченосному мессианизму, как и встарь, как тысячу лет назад, снова придет крестоносный мессианизм. Свойства русской души таковы, что переход этот будет стремительным, внезапным.

О том, что Блок страстно верил, что Россия променяет гнев и злобу на мир и любовь, можно заключить из письма, написанного Блоком Маяковскому тридцатого декабря восемнадцатого года:

«Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете: нарушение традиций – та же традиция. Над нами большое проклятие, – мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие – разрушать, ибо «всему место под солнцем», но все будут работать, пока не явится третья, равно непохожее и на «строительство и на разрушение».

Итак, внезапный, стремительный переход из ненависти в любовь представляется Блоку тем свойством русского духа, которое всегда сопутствовало большим, революционным изменениям в социальной и духовной жизни нации.

Того же Александр Блок ожидает и от русской революции: комплекс Святослава или меченосный мессианизм, что одно и то же, захлестнувший Россию не извне, как встарь, а изнутри и раскрывшийся в разинско-пугачевской стихии, должен быть сменен комплексом Сергия Радонежского, то есть крестоносным мессианизмом, который немислим без смягчения жесточенности человеческих душ и без перехода к мирному труду, каковой массы должны воспринять, как божественное откровение, как творческую литургию. «Несчастен тот, кто не обладает

фантазией, тот, кто все происходящее воспринимает однобоко, вяло, безысходно. Жизнь воспринимается в постоянном качании маятника... из бездны отчаяния на вершину радости...»

Но Блок боялся, – достичь этих вершин будет невероятно трудно.

Тоска мучительных ожиданий усиливается у Блока скептицизмом, который, в какой-то мере, объясняется размышлениями над книгой «Политика в кругу наук», написанной еще в конце минувшего века Александром Львовичем Блоком, отцом поэта. Блок в «Возмездии» признается, что он, по духу, по темпераменту, чужд иронически аналитическим прозрениям своего отца, видного социолога и юриста, но забота о России, странным образом, заставляет отца и сына встретиться на самых тайных путях. К этой встрече привел идентичный взгляд обоих – отца и сына на взаимоотношение Запада и Востока.

В «Политике в кругу наук» Александр Львович Блок доказывает, что западный мир был всегда несправедлив к России, отвечая на дружбу коварством и обманом, на искренность – лицемерием и фальшью; страстная любовь Востока к духовной культуре вызывала у Запада насмешливо пренебрежительное отношение.

Он убежден, что русская аристократия будет рано или поздно отстранена от власти и заменена мужичьим царством, которое резко возьмется за насаждение в степях восточно-европейской равнины технической цивилизации. Дух созидания пробудит в русском сердце и гордость и духовную независимость, но эти качества неизбежно толкнут Россию в мировое зло.

Пусть сталь и кровь соберутся на злую свадьбу! Огнем и мечом рассчитается Россия с западным миром. Сполна рассчитается за те унижения, что довелось ей изведать, отомстит за горечь и скорби, которые причинил ей Запад. Есть и у нас «дьявольская изворотливость, насмешка, нелицемерность самого зла..!».

В этом разделе своей книги автор не без злорадной усмешки предчувствует, какой сюрприз преподнесет надменному Западу пробудившийся от спячки русский медведь.

Поэт Блок с ужасом убеждается в том, что отец его, Блок – социолог – может оказаться правым тогда. Идеи «Политики в кругу наук» мутили оптимизм бердяевской «Души России». Запад надо предостеречь, надо доказать ему, что он, хотя бы из чувства самосохранения, должен помешать России впасть в мировое зло.

«Если вы хоть демократическим миром не смоете позора вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрим глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы окажемся азиатами и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, уже не ариец. Мы варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ, будет единственно достойным человека».

У Византии, когда она содействовала принятию Киевской Русью христианства, была добрая воля, направленная к тому, чтобы претворить меченосный мессианизм в мессианизм крестоносный.

У современного Запада такой доброй воли нет. А проявись эта воля – повторение исторического преобразования, изменившего облик России, могло бы стать действительностью.

«Скифы» проникнуты страстной жадой примирения Запада и Востока.

Если на Запад не подействует доброе слово, то, быть может, повлияет страх, который Блок и вызывает своим предостережением.

Но в то, что Запад рано или поздно проявит добрую волю для претворения русского мессианизма из меченосного мессианизма, Блок веры не утратил. Поэт не мог только примириться, что к этой воле Запад придет трагическим и страшным путем катастроф и падений.

«Все будет хорошо! Россия будет великой!.. Но, Боже мой! Как долго ждать! Как мучительно долго ждать».

«В переходные эпохи не может быть великих талантов, переходные эпохи значительны именно тем, что оскудевает стихия, но зато слышны звонкие удары человеческого молота.»

Поэт чувствовал, что вместе с оскудением стихии, оскудевает его собственная душа.

Дух революции отлетел от России – дух творчества отошел от поэта. Блок еще крепится, пробует работать. Он хочет «бросить в сердце дикаря искры Прометеева огня».

Поэт становится руководителем репертуарной части Большого Драматического театра. Им составляется текст вступительных речей, с которыми актер Монахов обращался, перед началом представления, к новому зрителю, то есть к рабочим и красногвардейцам. Тексты вступительных речей написаны Блоком по поводу предпринятых театром постановок: «Леди Макбет», «Отелло» и «Много шума из ничего» Шекспира, «Разбойников» и «Дона Карлоса» Шиллера, «Дантона» Марии Левберг и других.

«Нужно не прятаться от жизни, не ждать никаких личных объяснений, а смотреть в глаза происходящему, как можно пристальнее, с напряжением... В этом залог успеха всякой работы и нашей работы, в частности.»

Поэт пишет ряд статей, работает над прозаической «Исповедью язычника».

«Но раз в этой жизни есть столь страшные провалы, раз возможны случаи, когда порок не побеждает и не торжествует, но и добродетель также не торжествует, значит надо искать другой выход, более совершенный.»

Одно время Блок полагал, что выход – в необходимости работать над тем, чтобы сохранить от разрушения культуру минувшего.

Варварские массы еще не доросли до того, чтобы приобщиться к настоящей культуре. Но эта культура будет – рано или поздно – необходима массам, как воздух.

Русская культура вступает отныне в Александрийский период, то есть в период собирания и накопления духовных цен-

ностей. Но на ранних порах заинтересованы в этом не власть и не народ, а немногочисленные представители старой интеллигенции, уцелевшие от голода и репрессий. Поэтому всякое культурное начинание немислимо без ухода в катакомбы.

Размышления над судьбами русской культуры привели поэта к тому, что он изменил отношение к традициям: традиции надо не разрушать, а сохранять, очищая жизнеспособное от отжившего – таким образом, чтобы минувшее соединялось с будущим через преображение настоящего.

Вот почему Александр Блок стал по-иному, по-новому относиться к церкви. И до революции, и после нее Блок с болью в душе признавал, что дух Иисуса Христа отошел от церкви, – и от католической, и от православной.

*Гнусавой мессы хор протяжный,  
И трупный запах роз в церквах,  
Весь дым тоски многоэтажной,  
Сгинь в очистительных веках!*

«Церковь умерла. Храм стал продолжением улицы.»

«Если бы в России существовало, действительно, духовенство, а не сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно бы давно учло то обстоятельство, что Христос – с красногвардейцами.»

Мочульский правильно отметил, что эти отзывы принадлежат не атеисту, а христианину, который разгневан тем, что церковь и духовенство отныне недостойны служить Христу. Но позднее Блок стал к церкви как-то мягче, доверчивее.

«Русские всегда ведь думают о церкви. Мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят: и то и другое с болью ...»

«И я тоже ходил когда-то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста ... В пустой церкви мне удавалось иногда найти то, что я напрасно искал в мире...»

«Я очень давно не исповедовался, а мне надо исповедоваться...»

Восторг перед революцией уступает место разочарованию в революции и чувству раскаяния.

Раскаяние привело поэта не к совершенству, а к нестерпимым мучениям. Человек сравнительно легко переносит физические страдания, когда он переживает душевное горение, позволяющее превозмочь болезнь, но когда перегорает душа, то мучения физические дополняются и усложняются душевными страданиями. В Пушкинском Доме Блок произносит речь, посвященную годовщине со дня смерти Пушкина:

«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».

«... Поэт умирает, потому что дышать ему нечем ... Жизнь потеряла смысл.» В этих словах Блок говорил не только о Пушкине, но и отчасти о себе самом. Поэт чувствовал, что он задыхается, ибо умерла не только культура, которая помогла ему раскрыть самого себя, но и выстраданные им мечты. В этом смысле Блок – тоже жертва большевистской эпохи.

*Вот зачем в часы заката,  
Уходя в немую тьму,  
С Белой площади сената  
Низко кланяюсь ему.*

Такими словами заканчивает Блок стихотворение, обращенное к Пушкину.

В сопоставлении трагедии Блока и трагедии Пушкина нельзя усмотреть параллель или историческое повторение. В полицейском государстве Николая Первого была закована в кандалы явная свобода человека и творца, но тайная свобода, то есть свобода внутреннего мира, свобода душевных переживаний и сердечного воображения оставалась неприкосновенной.

Блок же, с мучениями и болью, почувствовал, что большевизм схватывает за горло тайную свободу, от чего художник может стать чужим собственной душе, утратить свое «я».

«Интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства – все

меньше; мы видим это и слышим каждый день. Это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требуется какое-то иное, высшее начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением – разворотом, пьянством, самоубийством всех видов.»

Блок слишком устал и был слишком надломлен для того, чтобы удалиться в буйство от жизни, отравленной горечью и скукой.

Поэт угасал, задыхаясь в новой эпохе, которую оставил «дух музыки».

Александр Блок умер седьмого августа двадцать первого года, в десять часов утра. Десятого августа состоялись похороны.

«Синий жаркий день десятого августа. Синий ладанный дым в тесной комнате. Чужое, длинное с колючими усами, с острой бородкой лицо – похожее на лицо Дон Кихота... Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу к гробу, целует желтую руку, уходит». (Евгений Замятин).

Над могилой водрузили простой, некрашенный, деревянный крест.

В записной книжке поэта есть зарисовка, которую можно рассматривать как символ.

«Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая с голода. Светит одна ясная и большая звезда.»

Александр Блок умер с неугасшей верой в грядущее Возрождение России. Вера эта, как ясная и большая, но далекая звезда, осветила своим сиянием трагический закат большого поэта.\*

1957

---

\* Глава из книги, принятой к изданию, в английском переводе, издательством Фредерика Прегера. – *Ред.*

*Читайте*  
*в следующем номере:*

**Игорь ЧУБАЙС**  
**Великая Отечественная.**  
**Когда мы избавимся от ложных мифов,**  
**когда напишем свою историю?**

*Новое о Булате Окуджаве*  
**Фридрих ХИТЦЕР**  
**Маленький кинжал в кожаном чехле**

**Тамара ЖИРМУНСКАЯ**  
**«Ты», которое стремится к «вы»**

**Проза Бориса КРЯЧКО**

**Поэзия Татьяны НЕДЗВЕЦКОЙ,**  
**Виктора ДЗАНСОЛОВА**

**и другие материалы**

## Коротко об авторах

**А л ь м е ч и т о в** Игорь Сергеевич родился в городе Воронеже в 1973 году.

Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета в 2001.

В 1993–1995 служил в рядах российской Армии.

Печатался в журналах «Урал», «Подъем», «Пролог», «Наша улица» и других.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ № 221 опубликованы рассказы И. А. «Отчаяние» и «Без Определенного Места Жительства».

**Б а с о в а** Ирина Борисовна. Родилась в Ленинграде.

Выросла в Крыму, в Москве окончила биологический факультет университета.

В 1980 году вместе с мужем и детьми эмигрировала из СССР во Францию.

С 1982 по 1992 год работала редактором и состояла членом редколлегии газеты «Русская мысль» (Париж).

Ее стихи в разные годы были напечатаны в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор двух поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге в 1994 и в 2003 годах, и книги «Римский дивертисмент», изданной в Вероне (Италия).

Как журналист и эссеист публикуется во французской и русской периодической печати.

Дочь русского поэта Бориса Корнилова, погибшего в сталинских застенках.

Живет в Париже.

В ГРАНЯХ №229 опубликовано ее литературное эссе «Поэт и эмиграция».

В о р о б ь е в Олег Александрович родился в Москве в 1966 году.

Окончил в 1989 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а в 1995 – Академию Народного Хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации.

Консультант Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

Занимается исследованиями в области современной истории, в частности, «сменовеховским» движением.

Публиковался в «Независимой газете», журналах «Исторический архив», «Государственная служба» и других.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 192) читатель, благодаря О. В., познакомился с перепиской (1920–1922) Н. В. Устрялова и кн. Л. В. Голицыной, в № 201 с фрагментами «Переписки Н. В. Устрялова с разными людьми», письма хранятся в коллекции Н. У. Архива Гуверовского Института войны, революции и мира при Стенфордском университете в Калифорнии (США); в № 209 с материалом «Психологические мотивы сменовеховства». В № 217 опубликовано его политическое эссе «Ксенофобия как осознанный выбор», в № 220 – «Мир изначально добр, в нем нет зла», в № 225 «90-летию Октября посвящается...»

З а в а л и ш и н Вячеслав Клавдиевич (1915–1995) – литературный критик, журналист. После Второй мировой войны – в эмиграции в Германии, затем в США. Литературный обозреватель газеты «Новое русское слово», сотрудник радиостанции «Свобода» и «Нового Журнала».

Постоянный автор журнала ГРАНИ.

З а м я т и н Евгений Иванович (1884–1937).

В 1908 году окончил кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института. До революции совмещал литературную деятельность с инженерной.

После революции стал ведущей фигурой в культурной жизни Петрограда, оказал сильное влияние на группу «Серрапионовы братья».

Главное произведение – роман-антиутопия «Мы», написанный в 1920 году и появившийся в середине двадцатых годов в переводах на чешский, английский и французский языки. Роман был запрещен к публикации в СССР.

Возрастающие нападки со стороны РАПП вынудили Е. З. обратиться к Сталину с просьбой о разрешении на выезд из Советской России. Он, в частности, писал: «Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой».

Поразительно, но в тот же год он смог эмигрировать, уже на следующий прибыл в Париж, где умер пять лет спустя.

Роман «Мы», возникший после обращения Е.З. к утопиям Г. Уэллса, гениальное, провидческое описание неототалитарной системы, в которой царит вера в регулируемость всех событий посредством диктата разума, и принцип уравниения всех подданных.

**З о р и н** Александр Иванович родился в Москве в 1941 году.

Автор семи поэтических книг, мемуарной книги «Ангел-чернорабочий» (1993, 2004) об отце Александре Мене и литературных эссе о русских поэтах в сборнике «Выход из лабиринта», которые печатались в «Дружбе народов», «Континенте» и других отечественных и зарубежных изданиях.

О себе он сказал так: «В советское время стихи, в основном, печатал в Самиздате – журналах «Чаша», «Выбор» и других. Под псевдонимом А. Ноев выпустил в трех экземплярах книгу «Ковчег», которая, по моим сведениям, была опубликована на Западе, но до меня так и не дошла. Может быть, ГРАНИ помогут нам встретиться...»

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 187) был опубликован поэтический цикл «...Мы с тобой заложники мира сего», в № 210 воспоминания о писателе Борисе Крячко «Нестандартная фигура», в № 217 литературное эссе «Портрет поэта под созвездием Большого Пса», в № 220 «Художник и модель. Владимир Набоков», в № 228 литературное эссе «Смута и ясность болдинской осени» и «Не расставаясь с Есениным», в № 229 «Где дух Господень – там свобода».

**К а й с а р о в а** Татьяна Мартиновна родилась в Москве.

Окончила художественно-графический факультет Государственного педагогического института. Работала в энциклопедических изданиях.

С 1980 года работает в Центре СМИ Московского Государственного университета.

Стихи публиковала в «Литературной России», «Литературной газете», в журналах «Юность», «Москва», «Смена» и других.

Одна из авторов женского сборника «Вечерний альбом», вышедшего зарубежом.

Книги: «Все еще сбудется» (1997), «Качнулось равновесие времен» (2001), «Синий дождь» (2003), «И снится сказанное мною», «Предощущения» (2007).

В 2007 году в серии «Библиотека русских поэтов» вышел ее поэтический сборник «Растают зимние цветы».

В ГРАНЯХ публикуется впервые.

Кузнецов Виктор Владимирович родился в 1942 году в Узбекистане, жил и учился в Казани, работал в Якутии и на полуострове Мангышлак. Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики нефтяного пласта ОАО «ВНИИнефть».

Член Союза писателей Москвы с 1997 года, автор четырех прозаических книг – «Сорок тысяч братьев» (1993), «Темное царство коммуналок» (1997), «Гиппократ и Аполлон» (2003, в соавторстве с Георгием Кузнецовым), «Все движется любовью» (2003) – и рассказов и очерков, публиковавшихся в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Кольцо А», «Крыша мира», «Литературный европеец», «Мосты», «Наша улица», «Новое время», «Новый Журнал»...

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 219) опубликованы его материалы: «Французская карьера русского герцога»; в № 221 «На земле трудовых лагерей», в № 223 «Черный орел и земледельцы», в № 226 «Городу и миру», в № 227 «Кровь земли».

Николеев Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В. Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005 году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В. Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А. М. Славуцкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 – документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война» и в № 228 «Открытие Америки».

Рубин Илья Давидович (1941–1977).

Родился и жил в Москве. Учился в Московском институте тонкой химической технологии, в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева, затем – на филологическом факультете МГУ.

Главный редактор самиздатовского журнала «Евреи в СССР», выходившего в начале семидесятых.

Вынужден был эмигрировать. С 1976 года жил в Израиле. Там посмертно вышла книга его стихотворений и статей «Оглянись в слезах».

Произведения публиковались в журналах «Огонек» и «Согласие».

В ГРАНЯХ в № 221 опубликован его поэтический цикл «Исчезла горечь памяти моей», в № 222 литературное эссе «Кто был никем...»; в № 225 поэма «Революция», в № 226 «К постановке вопроса о природе антисемитизма» и в № 229 рассказ «Страх».

*Ваша еженедельная газета*

*Издается в Европе с 1947 года.*

# РУССКАЯ МЫСЛЬ

**LA PENSEE RUSSE**

**Самая популярная газета  
русскоязычной диаспоры**

*Хроника и анализ российской политики и экономики*

*Взгляд с Запада на события в России*

*Литература и мемуары, книжное обозрение*

*Культура, история*

*Жизнь русского зарубежья*

Генеральный директор: Андрей Гульцев.  
Глава редакционного совета: Виктор Лупан.  
e-mail: [presse.libre@wanadoo.fr](mailto:presse.libre@wanadoo.fr)  
[annonces@rusmysl.com](mailto:annonces@rusmysl.com)

**Подписка по телефону: +33 1 42 33 51 85**

**+33 1 42 33 51 86 (факс)**

**или**

**[www.rusmysl.com](http://www.rusmysl.com)**



# ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ВТОРОЙ ВЫПУСК

*Составители:*

Николай Панченко и Нина Бялосинская

*Редакционная коллегия:*

Н. Бялосинская, В. Корнилов, Р. Левита, В. Медведев, В. Мильев,  
И. Минутко, Б. Окуджава, Н. Панченко, Ф. Поленов, В. Фогельсон

## СОРОК ДВА ГОДА СПУСТЯ

*Дорогие читатели!*

Выпуск в 1961 году альманаха «Тарусские страницы» стал событием в литературной и общественной жизни России.

Купить его оказалось практически невозможно, тираж исчез в мгновение ока и уже стал библиографической редкостью.

Второй выпуск «Тарусских страниц» вышел через сорок два года после Первого. Он наследует главный принцип «Тарусских страниц» – открывать таланты. В альманахе представлено и русское Зарубежье, а также материалы из архива, эпистолярное наследие, мемуары. Книга была собрана в 1990 году, но и сегодня, в начале XXI века, она не менее актуальна.

Двенадцать лет редколлегия «Тарусских страниц» тщетно боролась с напором капитализации книжного рынка за выход книги к читателю. И вот она вышла. Исключительная заслуга в этом русского литературного журнала «Грани». Второй выпуск счастливо повторил судьбу Первого – он был раскуплен мгновенно.

Заканчивается работа и над Третьим выпуском «Тарусских страниц».

По всем вопросам обращаться в редакцию журнала «Грани»  
по адресу электронной почты:  
grani.08@mail.ru  
wickuz@orexovo.net

Редакция журнала «Грани»

## ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,  
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,  
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2009 году от Р.Х.

За 2008 год вышли №№ 225, 226, 227 и 228, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ  
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI  
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru  
wickuz@orexovo.net**

**Принимаем заявки на подписку 2009 и 2010 годов от Р.Х.**

Учредитель:  
**Journal «Grani»**

**Ассоциация «ГРАНИ»**  
**L'association «GRANI»**  
**De l'association n w751170197**  
**Paris**

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,  
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.*

*Перепечатка без разрешения воспрещается.*

Оригинал-макет – Елены Метченко

Подписано в печать 10.07.08. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсет. Бумага офсет. № 1.  
Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 30. Уч.-изд. л. 10.  
Тираж 750. Заказ № 121.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».  
Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.  
Тел.: 936-83-28.

# **Journal «Grani»**

**Журнал ГРАНИ - 2009.  
№229, №230, №231 и №232**

**Для оформления подписки,  
писем и сообщений:**

**GRANI  
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE**

## **Представители:**

**РОССИЯ** T. Jilkina  
17, Milashenkova str., app. 61  
127322, Moscow  
E-mail: grani.08@mail.ru

**АМЕРИКА** K. Troosh  
600 Fifth Ave  
San Francisco CA 94118  
E-mail: katia@katias.com

**ФРАНЦИЯ** N. Fedorovsky  
16 square J.-B. Pigalle  
77680 Roissy-en-Brie  
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ  
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

**Легко и радостно жить тому,  
кто ищет в других хорошее,  
ищет и находит.**

**Исканием своим помогает он тем,  
в ком ищет, раскрыть и проявить  
светлые г р а н и души. Но для этого  
он прежде всего в самом себе  
должен раскрыть их, должен стремиться  
к совершенствованию.**

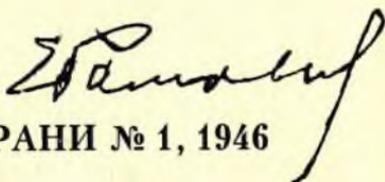
**Каждый человек –  
часть органического целого, человечества.  
Совершенствуется часть –  
совершенствуется целое.**

**Тот, кто становится на путь Правды,  
помогает всему человечеству  
стать на тот же путь.**

**А необходимость этого, может быть,  
никогда так не была велика, никогда так  
не ощущалась всеми, как в наши дни.**

**В свете этого большая  
и ответственная задача  
стоит перед теми, кто служит Слову, –  
Слову Правды.**

**Тогда подлинным гуманизмом будет  
проникнуто творчество художника  
и оправдано в служении Человеку,  
Правде человеческой, Правде Божьей.**

  
ГРАНИ № 1, 1946